

Душно в шкафу и темно, как ночью. Мне стало страшно, я стал кричать:

— Э-э-э! Я в шкафу! Помогите!

Прислушался — тишина кругом.

Я опять:

— О! Товарищи! Я в шкафу сижу!

Слышу чьи-то шаги. Идёт кто-то.

— Кто здесь горланит?

Я сразу узнал тётю Ньюшу, уборщицу.

Я обрадовался, кричу:

— Тётя Ньюша, я здесь!

— Где ты, родименький?

— В шкафу я! В шкафу!

— Как же ты, милый, туда забрался?

— Я в шкафу, бабуся!

— Так уж слышу, что ты в шкафу. Так чего ты хочешь?

— Меня заперли в шкаф. Ой, бабуся!

Ушла тётя Ньюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла.

Опять шаги. Слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч — наш завуч...

Пал Палыч постучал в шкаф пальцем.

— Там нет никого, — сказал Пал Палыч.

— Как же нет. Есть, — сказала тётя Ньюша.

— Ну где же он? — сказал Пал Палыч и постучал ещё раз по шкафу.

Я испугался, что все уйдут, я останусь в шкафу, и изо всех сил крикнул:

— Я здесь!

— Кто ты? — спросил Пал Палыч.

— Я... Цыпкин...

— Зачем ты туда забрался, Цыпкин?

— Меня заперли... Я не забрался...

— Гм... Его заперли! А он не забрался! Видали? Какие волшебники в нашей школе! Они не забираются в шкаф, в то время как их запирают в шкафу.

Чудес не бывает, слышишь, Цыпкин?

— Слышу...

— Ты давно там сидишь? — спросил Пал Палыч.

— Не знаю...

— Найдите ключ, — сказал Пал Палыч. — Быстро.

Тётя Ньюша пошла за ключом, а Пал Палыч остался. Он сел рядом на стул и стал ждать. Я видел сквозь

щёлку его лицо. Он был очень сердитый. Он закурил и сказал:

— Ну! Вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи: почему ты в

шкафу?

Мне очень хотелось исчезнуть из шкафа. Откроют шкаф, а меня там нет. Как будто бы я там и не был. Меня спросят: «Ты был в шкафу?» Я скажу: «Не был». Мне скажут: «А кто там был?» Я скажу: «Не знаю».

Но ведь так только в сказках бывает! Наверняка завтра маму вызовут... Ваш сын, скажут, в шкаф залез, все уроки там спал, и всё такое... как будто мне тут удобно спать! Ноги ломит, спина болит. Одно мученье! Что было мне отвечать?

Я молчал.

— Ты живой там? — спросил Пал Палыч.

— Живой...

— Ну сиди, скоро откроют...

— Я сижу...

— Так... — сказал Пал Палыч. — Так ты ответишь мне, почему ты залез в этот шкаф?

Я молчал.

Вдруг я услышал голос директора. Он шёл по коридору:

— Кто? Цыпкин? В шкафу? Почему?

Мне опять захотелось исчезнуть.

Директор спросил:

— Цыпкин, ты?

Я тяжело вздохнул. Я просто уже не мог отвечать.

Тётя Нюша сказала:

— Ключ унёс староста класса.

— Взломайте дверь, — сказал директор.

Я почувствовал, как ломают дверь, — шкаф затрясся, я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадёт, и заплакал. Руками упёрся в стенки шкафа, и, когда дверь поддалась и открылась, я продолжал точно так же стоять.

— Ну, выходи, — сказал директор. — И объясни нам, что это значит.

Я не двинулся с места. Мне было страшно.

— Почему он стоит? — спросил директор.

Меня вытащили из шкафа.

Я всё время молчал.

Я не знал, что сказать.

Я хотел ведь только мяукнуть. Но как я сказал бы об этом...

Вот что интересно

Когда Гога начал ходить в первый класс, он знал только две буквы: О — кружочек и Т — молоточек. И всё. Других букв не знал. И читать не умел. Бабушка пыталась его учить, но он сейчас же придумывал уловку:

— Сейчас, сейчас, бабуся, я тебе вымою посуду.

И он тут же бежал на кухню мыть посуду. И старенькая бабушка забывала про учёбу и даже покупала ему подарки за помощь в хозяйстве. А Гогины родители были в длительной командировке и надеялись на бабушку. И конечно, не знали, что их сын до сих пор читать не научился. Зато Гога часто мыл пол и посуду, ходил за хлебом, и бабушка всячески хвалила его в письмах родителям. И читала ему вслух. А Гога, устроившись поудобней на диване, слушал с закрытыми глазами. «А зачем мне учиться читать, — рассуждал он, — если бабушка мне вслух читает». Он и не старался. И в классе он увивал как мог.

Учительница ему говорит:

— Прочти-ка вот здесь.

Он делал вид, что читает, а сам рассказывал по памяти, что ему бабушка читала. Учительница его останавливала. Под смех класса он говорил:

— Хотите, я лучше закрою форточку, чтобы не дуло.

Или:

— У меня так кружится голова, что я сейчас, наверное, упаду...

Он так искусно притворялся, что однажды учительница его к врачу послала.

Врач спросил:

— Как здоровье?

— Плохо, — сказал Гога.

— Что болит?

— Всё.

— Ну, тогда иди в класс.

— Почему?

— Потому что у тебя ничего не болит.

— А вы откуда знаете?

— А ты откуда знаешь? — засмеялся врач. И он слегка подтолкнул Гогу к выходу. Больным Гога больше никогда не притворялся, но увивать продолжал.

И старания одноклассников ни к чему не привели. Сначала к нему Машу-отличницу прикрепили.

— Давай будем серьёзно учиться, — сказала ему Маша.

— Когда? — спросил Гога.

— Да хоть сейчас.

— Сейчас я приду, — сказал Гога.

И он ушёл и не вернулся.

Потом к нему Гришу-отличника прикрепители. Они остались в классе. Но как только Гриша открыл букварь, Гога полез под парту.

— Ты куда? — спросил Гриша.

— Иди сюда, — позвал Гога.

— Зачем?

— А здесь нам никто мешать не будет.

— Да ну тебя! — Гриша, конечно, обиделся и сейчас же ушёл.

Больше к нему никого не прикрепляли.

Время шло. Он увиливал.

Приехали Гогины родители и обнаружили, что их сын не может прочесть ни строчки. Отец схватился за голову, а мать за книжку, которую она привезла своему ребёнку.

— Теперь я каждый вечер, — сказала она, — буду читать вслух эту замечательную книжку своему сыночку.

Бабушка сказала:

— Да, да, я тоже каждый вечер читала вслух Гогочке интересные книжки.

Но отец сказал:

— Очень даже напрасно вы это делали. Наш Гогочка разлеился до такой степени, что не может прочесть ни строчки. Прошу всех удалиться на совещание.

И папа вместе с бабушкой и мамой удалились на совещание. А Гога сначала заволновался по поводу совещания, а потом успокоился, когда мама стала ему читать из новой книжки. И даже заболтал ногами от удовольствия и чуть не сплюнул на ковёр.

Но он не знал, что это было за совещание! Что там постановили!

Итак, мама прочла ему полторы страницы после совещания. А он, болтая ногами, наивно воображал, что так и будет дальше продолжаться. Но когда мама остановилась на самом интересном месте, он опять заволновался.

А когда она протянула ему книгу, он ещё больше заволновался.

— А дальше читай сам, — сказала ему мама.

Он сразу предложил:

— Давай я тебе, мамочка, вымою посуду.

И он побежал мыть посуду.

Но и после этого мама отказывалась читать.

Он побежал к отцу.

Отец строго сказал, чтобы он никогда больше не обращался к нему с такими просьбами.

Он сунул книгу бабушке, но она зевнула и выронила её из рук. Он поднял с

пола книгу и опять отдал бабушке. Но она опять выронила её из рук. Нет, раньше она никогда так быстро не засыпала в своём кресле! «Действительно ли, — думал Гога, — она спит или ей на совещании поручили притворяться?»

»Гога дёргал её, тормозил, но бабушка и не думала просыпаться.

А ему так хотелось узнать, что дальше происходит в этой книжке!

В отчаянии он сел на пол и стал рассматривать картинки. Но по картинкам трудно было понять, что там дальше происходит.

Он принёс книгу в класс. Но одноклассники отказывались ему читать. Даже мало того: Маша тут же ушла, а Гриша вызывающе полез под парту.

Гога пристал к старшекласнику, но тот щёлкнул его по носу и засмеялся.

Как дальше быть?

Ведь он так никогда и не узнает, что дальше в книге написано, пока не прочтёт её.

Оставалось учиться.

Читать самому.

Вот что значит домашнее совещание!

Вот что значит общественность!

Он вскорости прочёл всю книгу и много других книг, но по привычке никогда не забывал сходить за хлебом, вымыть пол или посуду.

Вот что интересно!

Не везет

Однажды прихожу я домой из школы. В этот день я как раз двойку получил. Хожу по комнате и пою. Пою и пою, чтоб никто не подумал, что я двойку получил. А то будут спрашивать ещё: «Почему ты мрачный, почему ты задумчивый?»

Отец говорит:

— Что это он так поёт?

А мама говорит:

— У него, наверное, весёлое настроение, вот он и поёт.

Отец говорит:

— Наверное, пятёрку получил, вот и весело человеку. Всегда весело, когда какое-нибудь хорошее дело сделаешь.

Я как это услышал, ещё громче запел.

Тогда отец говорит:

— Ну ладно, Вовка, порадуй отца, покажи дневник.

Тут я сразу петь перестал.

— Зачем? — спрашиваю.

— Я вижу, — говорит отец, — тебе очень хочется дневник показать.
Берёт у меня дневник, видит там двойку и говорит:
— Удивительно, получил двойку и поёт! Что он, с ума сошёл? Ну-ка, Вова, иди сюда! У тебя, случайно, нет температуры?
— Нет у меня, — говорю, — никакой температуры...
Отец развёл руками и говорит:
— Тогда нужно тебя наказать за это пение...
Вот как мне не везёт!

Тетрадки под дождем

На перемене Марик мне говорит:
— Давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо!
— А вдруг тётя Даша задержит с портфелями?
— Нужно портфели в окно побросать.
Глянули мы в окно: возле самой стены сухо, а чуть подальше — огромная лужа. Не кидать же портфели в лужу! Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время звонок зазвенел. Учитель вошёл. Пришлось сесть на место. Урок начался. Дождь за окном полил. Марик записку мне пишет:
Пропали наши тетрадки
Я ему отвечаю:
Пропали наши тетрадки
Он мне пишет:
Что делать будем?
Я ему отвечаю:
Что делать будем?
Вдруг вызывают меня к доске.
— Не могу, — говорю, — я к доске идти.
«Как же, — думаю, — без ремня идти?»
— Иди, иди, я тебе помогу, — говорит учитель.
— Не надо мне помогать.
— Ты не заболел ли случайно?
— Заболел, — говорю.
— Ас домашним заданием как?
— Хорошо с домашним заданием.
Учитель подходит ко мне.
— А ну, покажи тетрадку.
Я молчу.

— Что с тобой происходит?

Я молчу.

— Придётся тебе поставить двойку.

Он открывает журнал и ставит мне двойку, а я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас под дождём.

Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит:

— Какой-то сегодня ты странный...

Все́му своё́ место

Я бросил решать задачку и побежал в сад к ребятам. Бегу — навстречу идёт наш учитель.

— Как дела? — говорит. — Догоняешь ветер?

— Да нет, я так, в садик.

Иду рядом с ним и думаю: «Вот сейчас спросит меня про задачу: какой ответ получился. А я что скажу? Ведь я ещё не успел решить».

А он:

— Хороша погода...

— Ну да, — отвечаю, — конечно... — А сам боюсь: про задачу вдруг спросит.

А он:

— Нос-то у тебя красный! — И смеётся.

— У меня всегда нос красный, такой уж у меня нос.

— Что ж ты, — говорит, — так и собираешься с таким носом жить?

Испугался я:

— А что мне с ним делать?

— Продать его и купить новый.

— Это вы шутите.

Он опять смеётся.

Я жду, когда же он про задачу спросит.

Так и не спросил про задачу.

Забыл, наверное.

На другой день вызывает меня:

— А ну, покажи задачу.

Не забыл, оказывается.

Яндреев

Всё из-за фамилии происходит. Я по алфавиту первый в журнале; чуть что, сразу меня вызывают. Поэтому и учусь хуже всех. Вот у Вовки Якулова все пятёрки. С его фамилией это нетрудно — он по списку в самом конце. Жди,

пока его вызовут. А с моей фамилией пропадёшь. Стал я думать, что мне предпринять. За обедом думаю, перед сном думаю — никак ничего не могу придумать. Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не мешали. Вот в шкафу-то я это и придумал. Прихожу в класс, заявляю ребятам:

— Я теперь не Андреев. Я теперь Яндреев.

— Мы давно знаем, что ты Андреев.

— Да нет, — говорю, — не Андреев, а Яндреев, на «Я» начинается — Яндреев.

— Ничего не понятно. Какой же ты Яндреев, когда ты просто Андреев? Таких фамилий вообще не бывает.

— У кого, — говорю, — не бывает, а у кого и бывает. Это позвольте мне знать.

— Удивительно, — говорит Вовка, — почему ты вдруг Яндреевым стал!

— Ещё увидите, — говорю.

Подхожу к Александре Петровне:

— У меня, знаете, дело такое: я теперь Яндреевым стал. Нельзя ли в журнале изменить, чтобы я на «Я» начинался?

— Что за фокусы? — говорит Александра Петровна.

— Это совсем не фокусы. Просто мне это очень важно. Я тогда сразу отличником буду.

— Ах, вот оно что! Тогда можно. Иди, Яндреев, урок отвечать.

Я пуговицу себе сам пришил

Я пуговицу себе сам пришил. Правда, я её криво пришил, но ведь я её сам пришил! А меня мама просит убрать со стола, как будто бы я не помог своей маме, — ведь пуговицу я сам пришил! А вчера вдруг дежурным назначили в классе. Очень мне нужно дежурным быть! Я ведь пуговицу себе сам пришил, а они кричат: «На других не надейся!» Я ни на кого не надеюсь. Я всё сам делаю — пуговицу себе сам пришил...

Как я под партой сидел

Только к доске отвернулся учитель, а я раз — и под парту. Как заметит учитель, что я исчез, ужасно, наверное, удивится.

Интересно, что он подумает? Станет спрашивать у всех, куда я делся, — вот смеху-то будет! Уже пол-урока прошло, а я всё сижу. «Когда же, — думаю, — он увидит, что меня в классе нет?» А под партой трудно сидеть. Спина у меня заболела даже. Попробуй-ка так просиди! Кашлянул я — никакого внимания. Не могу больше сидеть. Да ещё Серёжка мне в спину ногой всё время тычет. Не выдержал я. Не досидел до конца урока. Вылезаю и говорю:

— Извините, Пётр Петрович...

Учитель спрашивает:

— В чём дело? Ты к доске хочешь?

— Нет, извините меня, я под партой сидел...

— Ну и как, там удобно сидеть, под партой? Ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках.

Болтуны

Сеня и его сосед по парте не заметили, как вошёл учитель. Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу.

— Это я, — сказал он. — Похоже?

— Нисколько, — ответил Юра, — у тебя не такие уши.

— А какие же у меня уши?

— Как у осла.

— А у тебя нос — как у бегемота.

— А у тебя голова — как еловая шишка.

— А у тебя голова — как ведро.

— А у тебя во рту зуба нет...

— А ты рыжий.

— А ты селёдка.

— А ты вуалехвост.

— А что это такое?

— Вуалехвост — и всё.

— А ты первердер...

— Это ещё что значит?

— Значит, что ты первердер.

— А ты дырбыртыр.

— А ты выртырвыр.

— А ты rrrrrrrr...

— А ты zzzzzzzz...

— А ты... ы! — сказал Юра и увидел рядом учителя.

— Хотел бы я знать, — спросил учитель, — кто же всё-таки вы такие?

Как мы на самолёте летали

Приезжаем на аэродром. Нас шефы-лётчики пригласили.

Весь класс наш в один самолёт уместился. Прямо дом, а не самолёт! Хочешь

— сиди, хочешь — стой, что хочешь делай! Валерка петь стал. Только когда загудел самолёт, он почему-то вдруг перестал петь.

— Летим уже? — спрашивает. — Или нет?

Кто-то как закричит:

— Летим! Летим!

— Я боюсь, — говорит Валерка. — Зачем я только в кино не пошёл! — И зубами стучит.

Я ему говорю:

— С непривычки это бывает.

— А ты раньше летал? — спрашивает Валерка.

— Я на катере ездил. А это почти что одно и то же. Мы с отцом с катера рыбу ловили.

Вдруг выходит к нам лётчик. Улыбается, спрашивает:

— Ну как?

Валерка как заорёт:

— Ой, идите за руль! Самолёт упадёт! — И заплакал.

Лётчик смеётся:

— Не беспокойся. Там ведь ещё лётчик есть.

Валерка перестал плакать.

— Эх ты, плакса! — говорит лётчик. — Девочки на тебя смотрят.

Катя услышала и говорит:

— Мы на него совсем не смотрим. Мы в окно смотрим.

А лётчик не отстаёт:

— Они даже смотреть на тебя не хотят; эх ты, трусишка!

Мишка Колосов говорит:

— Чудак Валерка. Сначала пел, а потом стал бояться.

Лёнька Скориков говорит:

— Это он, наверное, от страха пел.

Тут самолёт на снижение пошёл.

Вышли мы из самолёта.

— Эх, — говорит Валерка, — хорошо бы ещё покататься.

— Вот и прекрасно, — улыбается лётчик, — сейчас будем на вертолёте кататься.

Я обернулся — нет Валерки.

— Где Валерка? — спрашивают ребята.

Наверное, он в кино пошёл!..

Лукьян

Катю вызвали отвечать урок, а Маша в окно засмотрелась. Катя подсказку ждёт, а Маша видит собаку Лукьяна и говорит тихо, вслух:

— Лукьян...

Катя думала, ей подсказали, и повторяет:

— Лукьян...

— При чём тут Лукьян?! — удивился учитель.

Учитель сердито смотрит на Катю.

Катя сердито смотрит на Машу.

А Маша спокойно смотрит в окно.

И мы помогали

Когда снег с крыши сбрасывали, мы всем двором помогали дворнику. На крышу нас, конечно, не пустили.

Тогда мы собрались во дворе, встали цепочкой, взявшись за руки, и никого не пускали в ту зону, куда снег падал.

Когда люди в эту зону шли, не подозревая об опасности, мы хором кричали:

— Сюда нельзя! В обход!

И все люди шли в обход.

На Ваську небольшой кусок снега сел. Кружился, кружился в воздухе и прямо Ваське на голову опустился. Васька только тряхнул головой, и этот снег на его голове растаял. Он потом всё повторял, что своей головой защитил других. Нескромно, я считаю, такие вещи заявлять. Тоже мне! Как будто это был какой-нибудь громадный кусок льда.

Нас всю дворник гнал, а мы не уходили. Так до конца помогали.

А дворник говорит, что мы мешали.

Как же так?!

Не может этого быть!

Язык

Ребята работали. А Петя сел на ступеньку. И так сидел. Очень нужно работать!

Но сидеть надоело.

Он кошку увидел.

Поймал её.

Показал кошке шиш, посвистел кошке в ухо, подул на неё, скорчил несколько рож, спел три песни, язык показал.

Она его цап лапой по языку!

Он сразу петь перестал.

Заорал, кошку выпустил и помчался к ребятам...

Лучше поздно, чем никогда!

Привычка

Не успели приехать в пионерлагерь, а уже тихий час! Не хочется человеку спать — так нет, спи, хочешь не хочешь! Как будто мало спать ночью — ещё днём спи. Тут бы пойти искупаться в море — так нет, лежи, да ещё глаза закрой. Книжку и то почитать нельзя. Стал я напевать чуть слышно. Напевал, напевал и заснул. За ужином думаю: «Ага, вот оно что: чтоб заснуть, нужно что-нибудь спеть. Иначе никак не уснёшь».

На другой день я как только лёг, так сейчас же тихонечко и запел. Я даже сам не заметил, как стал так громко петь, что прибежал наш вожатый Витя.

— Это что ещё за певец такой?

Я ему отвечаю:

— Я иначе уснуть не могу, вот поэтому и напеваю.

Он говорит:

— А если все запоют, тогда что будет?

— Ничего, — говорю, — не будет.

— Тогда сплошное пенье будет, а не сон.

— А может быть, тогда все уснут?

— Ты не выдумывай чепуху, а закрой глаза и спи.

— Не могу я без песни спать, у меня без этого глаза не закроются.

— Закроются, — говорит, — вот увидишь.

— Нет, не закроются, я себя знаю.

— У всех ребят закрываются, а почему у тебя не закроются?

— Потому что я так привык.

— А ты попробуй не вслух пой, а про себя. Тогда ещё скорее уснёшь и товарищей не разбудишь.

Стал я петь про себя, пел разные песни и незаметно уснул.

На другой день мы на море пошли. Купались, в разные игры играли. Потом на винограднике работали. И я перед сном забыл песню спеть. Как-то сразу уснул. Совершенно внезапно. Совсем неожиданно.

Вот это да!

Как я писал стихи

Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю что попало. Замечаю — получается в рифму. Вот, думаю, новость! Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стенгазеты.

Женька-редактор пришёл в восторг.

— Замечательно, что ты стал поэтом! Пиши и не зазнавайся.

Я написал стихотворение о солнце:

Льётся солнца луч
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове!
— Сегодня с утра идёт дождь, — сказал Женька, — а ты пишешь о солнце.
Поднимется смех и всё такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь, мы
всё равно бодры и всё такое.
Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось, но наконец получилось:
Льётся дождь
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове!
— Не везёт тебе, — говорит Женька, — дождь-то кончился — вот беда! И
солнце пока не показалось.
Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло:
Ничто не льётся
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове!
Женька-редактор мне говорит:
— Смотри, вон солнце опять показалось.
Тогда я сразу понял, в чём дело, и на другой день принёс такое
стихотворение:
Льётся солнца луч
На голову мне,
Льётся дождь
На голову мне,
Ничто не льётся
На голову мне.
Эх, хорошо
Моей голове!

Как я помогал маме мыть пол

Я давно собирался пол вымыть. Только мама не разрешала мне. «Не
получится, — говорит, — у тебя...»
— Посмотрим, как не получится!
Трах! — опрокинул ведро и пролил всю воду. Но я решил, так даже лучше.
Так гораздо удобнее мыть пол. Вся вода на полу; тряпкой три — и всё дело.

Воды маловато, правда. Комната-то у нас большая. Придётся ещё ведро воды на пол вылить. Вылил ещё ведро, вот теперь красота! Тру тряпкой, тру — ничего не выходит. Куда же воду девать, чтобы пол был сухой? Без насоса тут ничего не придумать. Велосипедный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро.

Но когда спешешь, всё плохо выходит. Воды на полу не убавилось, и в ведре пусто. Наверно, насос испортился.

Придётся теперь с насосом повозиться.

Тут мама в комнату входит.

— Что такое, — кричит, — почему вода?

— Не беспокойся, мама, всё будет в порядке. Надо только насос починить.

— Какой насос?

— Чтобы воду качать...

Мама взяла тряпку, смочила в воде, потом выжала тряпку в ведро, потом снова смочила, опять в ведро выжала. И так несколько раз подряд. И воды на полу не стало.

Всё оказалось так просто. А мама мне говорит:

— Ничего. Ты мне всё же помог.

Все куда-нибудь идут

После лета все во дворе собрались.

Петя сказал:

— Я иду в первый класс.

Вова сказал:

— Я во второй класс иду.

Маша сказала:

— Я в третий класс иду.

— А я? — спросил маленький Боба. — Выходит, я никуда не иду? — И заплакал.

Но тут Бобу позвала мама. И он перестал плакать.

— Я к маме иду! — сказал Боба.

И он пошёл к маме.

Новая рубашка

Хотя на дворе мороз и снег, я расстегнул пальто на все пуговицы и заложил за спину руки.

Пусть все видят мою рубашку, которую мне сегодня купили!

Я ходил по двору взад-вперёд, поглядывая на окна.

Шёл с работы мой старший брат.

— О, — сказал он, — какая прелесть! Только смотри не простудись.

Он взял меня за руку, привёл домой и надел мне рубашку поверх пальто.

— Теперь гуляй, — сказал он. — Какая прелесть!

Неохота всё время пешком ходить

Неохота всё время пешком ходить. Прицепился сзади к грузовику и еду. Вот и школа за поворотом. Только вдруг грузовик быстрее пошёл. Будто нарочно, чтоб я не слез. Школу уже проехали. У меня уже руки держаться устали. И ноги совсем затекли. А вдруг он так целый час будет мчаться?

Пришлось в кузов забраться. А в кузове мел был какой-то насыпан. Я в этот мел и упал. Такая пыль поднялась, что я чуть не задохся. Сажу на корточках. За борт машины держусь руками. Трясёт всюду! Боюсь, шофёр меня заметит — ведь сзади в кабине окошечко есть. Но потом понял: он не увидит меня — в такой пыли трудно меня увидеть.

Уже за город выехали, где дома новые строят. Здесь машина остановилась. Я сейчас же выпрыгнул — и бежать.

Хотелось всё же в школу успеть, несмотря на такой неожиданный поворот дела.

На улице все на меня смотрели. Даже пальцем показывали. Потому что я весь белый был. Один мальчишка сказал:

— Вот здорово! Это я понимаю!

А одна девочка маленькая спросила:

— Ты настоящий мальчик?

Потом собака чуть не укусила меня...

Не помню уж, сколько я шёл пешком. Только к школе когда подходил, все из школы уже выходили.

Был не крайний случай

В классе все пересказ писали, а я, как назло, в этот день заболел. Через пять дней только явился в школу.

Анна Петровна сказала мне:

— Вот возьми домой книжку, прочти её и напиши своими словами. Только не больше двух раз прочти.

— А если я не запомню?

— Пиши, как запомнишь.

— А третий раз ни за что нельзя?

— В крайнем случае — можно.

Пришел я домой. Прочёл два раза. Как будто запомнил. Забыл только, как слово «окно» писать — через «а» или «о». А что, если книжку открыть и заглянуть разок? Или это не крайний случай? Наверное, это не крайний случай. Ведь в основном я всё запомнил. Спрошу-ка я лучше у папы, можно мне заглянуть в третий раз или нет.

— Этот случай не крайний, — сказал папа. — Есть правило о безударных гласных. И ты должен знать это правило.

Правило я забыл. Пришлось наугад писать.

Анна Петровна прочла рассказ.

— Что же ты слово «окно» через «а» написал?

Я говорю:

— Был не крайний случай. И я не мог в третий раз заглянуть в книжку. А то бы я правильно написал.

Никакой я горчицы не ел

Сумку я спрятал под лестницу. А сам за угол завернул, на проспект вышел. Весна. Солнышко. Птички поют. Неохота как-то в школу. Любому ведь надоест. Вот и мне надоело.

Иду, витрины разглядываю, во весь голос песни пою. Попробуй в классе запой — сразу выгонят. А тут пой, сколько твоей душе угодно. Так до конца проспекта дошёл. Потом обратно. Хорошо ходить! Ходи себе и ходи.

Смотрю — машина стоит, шофёр что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю:

— Поломалась?

Молчит шофёр.

— Поломалась? — спрашиваю.

Он молчит.

Я постоял, постоял, говорю:

— Что, поломалась машина?

На этот раз он услышал.

— Угадал, — говорит, — поломалась. Помочь хочешь? Ну, давай чинить вместе.

— Да я... не умею...

— Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам.

Что мне оставалось делать? Вздохнул и дальше пошёл.

Вон двое стоят. Разговаривают. Подхожу ближе. Прислушиваюсь. Один говорит:

— Как с патентом?

Другой говорит:

— Хорошо с патентом.

«Что это, — думаю, — патент? Никогда я про него не слышал». Я думал, они про патент ещё скажут. А они про патент ничего не сказали больше. Про завод стали что-то рассказывать. Один заметил меня, говорит другому:

— Гляди-ка, парень как рот раскрыл.

И ко мне обращается:

— Что тебе?

— Мне ничего, — отвечаю, — я просто так...

— Тебе нечего делать?

— Ага.

— Вот хорошо! Видишь, вон дом кривой?

— Вижу.

— Пойди подтолкни его с того боку, чтоб он ровный был.

— Как это?

— А так. Тебе ведь нечего делать. Ты и подтолкни его.

И смеются оба.

Я что-то ответить хотел, но не мог придумать. По дороге придумал, вернулся к ним.

— Не смешно, — говорю, — а вы смеётесь.

Они как будто не слышат.

Я опять:

— Не смешно совсем. Что вы смеётесь?

Тогда один говорит:

— Мы совсем не смеёмся. Где ты видишь, что мы смеёмся?

Они и правда уже не смеялись. Это раньше они смеялись. Значит, я опоздал немножко...

О! Метла у стены стоит. И никого рядом нету.

Дворник вдруг из ворот выходит.

— Не тронь метлу!

— Да зачем мне метла? Мне метлы не нужно...

— А не нужно, так не подходи к метле. Метла для работы, а не для того, чтобы к ней подходили.

Какой-то злой дворник попался! Метлы даже жалко.

Эх, чем бы заняться? Домой идти ещё рано. Уроки ещё не кончились. Ходить по улицам скучно. Ребят никого не видно.

На леса строительные залезть?! Как раз рядом дом ремонтируют. Погляжу сверху на город. Вдруг слышу голос:

— Куда лезешь? Эй!

Смотрю — нет никого. Вот это да! Никого нет, а кто-то кричит! Выше стал

подниматься — опять:

— А ну слезь!

Головой верчу во все стороны. Откуда кричат? Что такое?

— Слезай! Эй! Слезай, слезай!

Я чуть с лестницы не скатился.

Перешёл на ту сторону улицы. Наверх, на леса, смотрю. Интересно, кто это кричит? Вблизи я никого не видел. А издали всё увидел — рабочие на лесах штукатурят, красят...

Сел на трамвай, до кольца доехал. Всё равно идти некуда. Лучше буду кататься. Устал ходить.

Второй круг на трамвае сделал. На то же самое место приехал. Ещё круг проехать, что ли? Не время пока домой идти. Рановато. В окно вагона смотрю. Все спешат куда-то, торопятся. Куда это все спешат? Непонятно.

Вдруг кондукторша говорит:

— Плати, мальчик, снова.

— У меня больше денег нету. Только три копейки было.

— Тогда сходи, мальчик. Иди пешком.

— Ой, мне далеко пешком идти!

— А ты попусту не катайся. В школу, наверное, не пошёл?

— Откуда вы знаете?

— Я всё знаю. По тебе видно.

— А чего видно?

— Видно, что в школу ты не пошёл. Вот что видно. Из школы ребята весёлые едут. А ты как будто горчицей объелся.

— Никакой я горчицы не ел...

— Всё равно сходи. Прогульщиков я не вожу бесплатно. — А потом говорит:

— Ну уж ладно, катайся. В другой раз не разрешу. Так и знай.

Но я всё равно сошёл. Неудобно как-то.

Место совсем не знакомое. Никогда я в этом районе не был. С одной стороны дома стоят. С другой стороны нет домов; пять экскаваторов землю роют. Как слоны по земле шагают. Зачерпывают ковшиками землю и в сторону сыплют. Вот это техника! Хорошо сидеть в будке. Куда лучше, чем в школу ходить. Сидишь себе, а он сам ходит, да ещё землю копает.

Один экскаватор остановился. Экскаваторщик слез на землю и говорит мне:

— В ковш хочешь попасть?

Я обиделся.

— Зачем мне в ковш? Я в кабину хочу.

И тут вспомнил я про горчицу, что кондукторша мне сказала, и стал улыбаться. Чтоб экскаваторщик думал, что я весёлый. И совсем мне не

скучно. Чтоб он не догадался, что я не был в школе.

Он посмотрел на меня удивлённо:

— Ты что?

— А что?

— Вид у тебя, брат, какой-то дурацкий.

Я ещё больше стал улыбаться. Рот чуть не до ушей растянул.

А он:

— Что с тобой?

— А чего?

— Что ты мне рожи строишь?

— На экскаваторе покатайте меня.

— Это тебе не троллейбус. Это машина рабочая. На ней люди работают.

Ясно?

— Я тоже, — говорю, — хочу на нём работать.

Он говорит:

— Эге, брат! Учиться надо!

Я думал, что он про школу. И опять улыбаться стал.

А он рукой на меня махнул и залез в кабину. Не захотел со мной разговаривать больше.

Весна. Солнышко. Воробьи в лужах купаются.

Но почему мне так скучно?

Моя работа

Старший брат мастерил приёмник, а младший ходил вокруг и мешал.

— И я работать хочу, — просил он.

— Вот пристал, — сказал старший брат. — На тебе молоток и гвоздь.

Младший нашёл кусок фанеры и приступил к работе.

Тук-тук-тук — вся фанера в дырках! Даже вся табуретка в дырках. Даже в пальце чуть-чуть не сделал дырку.

— А ну-ка, — сказал старший брат, — дай сюда. — И прибил фанеру к приёмнику.

— Вот и всё, — сказал старший брат, — готов приёмник.

Младший вышел во двор и привёл ребят.

— Это я сделал. Моя работа!

— Весь приёмник сделал?

— Не весь, конечно, но главную часть. Без неё приёмник бы не работал.

Путешественник

Я твёрдо решил в Антарктиду поехать. Чтоб закалить свой характер. Все говорят, бесхарактерный я: мама, учительница, даже Вовка. В Антарктиде всегда зима. И совсем нет лета. Туда только самые смелые едут. Так Вовкин папа сказал. Вовкин папа там был два раза. Он с Вовкой по радио говорил. Спрашивал, как живёт Вовка, как учится. Я тоже по радио выступлю. Чтобы мама не волновалась.

Утром я вынул все книжки из сумки, положил туда бутерброды, лимон, будильник, стакан и футбольный мяч. Наверняка морских львов там встречу — они любят мяч на носу вертеть. Мяч не влезал в сумку. Пришлось выпустить воздух.

Наша кошка прогуливалась по столу. Я её тоже сунул в сумку. Еле-еле всё поместилось.

Вот я уже на перроне. Свистит паровоз. Как много народу едет! Можно сесть на какой угодно поезд. В конце концов, можно всегда пересесть.

Я влез в вагон, сел, где посвободней.

Напротив меня спала старушка. Потом со мной сел военный. Он сказал: «Привет соседям!» — и разбудил старушку.

Старушка проснулась, спросила:

— Мы едем? — И снова уснула.

Поезд тронулся. Я подошёл к окну. Вот наш дом, наши белые занавески, наше бельё висит на дворе... Уж не видно нашего дома. Мне стало сначала немножко страшно. Но это только сначала. А когда поезд пошёл совсем быстро, мне как-то даже весело стало! Ведь еду я закалять характер!

Мне надоело смотреть в окно. Я снова сел.

— Тебя как зовут? — спросил военный.

— Саша, — сказал я чуть слышно.

— А что же бабушка спит?

— А кто её знает!

— Куда путь держишь?

— Далеко...

— В гости?

— Угу...

— Надолго?

Он со мной разговаривал, как со взрослым, и за это очень понравился мне.

— На пару недель, — сказал я серьёзно.

— Ну что же, — сказал военный, — очень даже неплохо.

Я спросил:

— Вы в Антарктиду?
— Пока нет; ты в Антарктиду хочешь?
— Откуда вы знаете?
— Все хотят в Антарктиду.
— И я хочу.
— Ну вот видишь!
— Видите ли... я решил закаляться...
— Понимаю, — сказал военный, — спорт, коньки...
— Да нет...
— Теперь понимаю — кругом пятёрки!
— Да нет, — сказал я, — Антарктида...
— Антарктида? — переспросил военный.
Военного кто-то позвал сыграть в шашки. И он ушёл в другое купе.

Проснулась старушка.

— Не болтай ногами, — сказала старушка.

Я пошёл посмотреть, как играют в шашки.

Вдруг... я не поверил даже — навстречу шла Мурка. А я и забыл про неё! Как она смогла вылезти из сумки?

Она побежала назад — я за ней. Она забралась под чью-то полку — я тоже сейчас же полез под полку.

— Мурка! — кричал я. — Мурка!

— Что за шум? — закричал проводник. — Почему здесь кошка?

— Это кошка моя.

— С кем этот мальчик?

— Я с кошкой...

— С какой кошкой?

— С моей.

— Он с бабушкой едет, — сказал военный, — она здесь рядом в купе.

Проводник повёл меня прямо к старушке.

— Этот мальчик с вами?

— Он с командиром, — сказала старушка.

— Антарктида... — вспомнил военный. — Всё ясно... Понимаете ли, в чём тут дело: этот мальчик решил махнуть в Антарктиду. И вот он взял с собой кошку... И ещё что ты взял с собой, мальчик?

— Лимон, — сказал я, — и ещё бутерброды...

— И поехал воспитывать свой характер?

— Какой плохой мальчик! — сказала старушка.

— Безобразие! — подтвердил проводник.

Потом почему-то все стали смеяться. Даже бабушка стала смеяться. У неё из

глаз даже слёзы пошли. Я не знал, что все надо мной смеются, и потихоньку тоже смеялся.

— Бери кошку, — сказал проводник. — Ты приехал. Вот она, твоя Антарктида! Поезд остановился.

Неужели, думаю, Антарктида? Так скоро?

Мы сошли с поезда на перрон. Меня посадили на встречный поезд и повезли домой.

Пара пустяков

Как только учебный год кончился, весь класс во дворе собрался. Обсуждали, что будут летом делать. Все разное говорили. А Володя сказал:

— Давайте Анне Петровне письма напишем. Где кто будет, оттуда напишет. О том, что увидел летом. Как провёл время.

Все закричали:

— Правильно! Правильно!

На том и порешили.

Разъехались все кто куда. Клим в деревню поехал. Он там сразу письмо написал — пять страниц.

Он написал:

«Я в деревне спасал тонущих. Они все остались довольны. Один спасённый мне сказал: «Если б не ты, я бы утонул». А я ему сказал: «Для меня это пара пустяков». А он сказал: «А для меня не пара пустяков». Я сказал: «Конечно, для тебя не пара пустяков, а для меня пара пустяков». Он сказал: «Спасибо тебе большое». Я сказал: «Совсем не за что, потому что для меня это пара пустяков».

Я спас человек пятьдесят или сто. Даже, может быть, больше. А после они перестали тонуть, и спасать стало некого.

Тогда я увидел лопнувший рельс. И остановил целый поезд. Люди выбежали из вагонов. Они обнимали меня и хвалили. А многие целовали. Многие просили мой адрес, и я им давал свой адрес. Многие дали свои адреса, и я брал с удовольствием их адреса. Многие мне предлагали подарки, но я сказал: «Только, прошу вас, без этого». Многие меня фотографировали, со многими я фотографировался, многие мне предлагали ехать сейчас же с ними, но бабушку я не мог оставить. Я ведь не предупредил её!

Потом я увидел горящий дом. Он горел вовсю. А дыму было сколько угодно. «Вперёд! — сказал я сам себе. — Непременно там кто-нибудь есть!»

Кругом меня падали балки. Несколько балок упало сзади меня, а несколько — впереди. Несколько балок упало сбоку. Одна балка упала мне на плечо.

Две или три балки упали с другого бока. Пять балок упало мне прямо на голову. Несколько балок ещё где-то упало. Но я не обращал внимания. Я рыскал по всему дому. Но никого, кроме кошки, там не было. Я выбежал с кошкой на улицу. Хозяева дома были тут. В руках они держали арбузы. «Спасибо за Мурку, — сказали они. — Мы только что из продмага». Они дали мне один арбуз. Потом все тушили дом...

Потом я увидел старушку. Она переходила улицу. Я сейчас же пошёл ей навстречу. «Разрешите, пожалуйста, — сказал я, — перевести вас на другую сторону». Я перевёл её на ту сторону и вернулся обратно. Подошли ещё старушки. Их тоже я перевёл на ту сторону. Некоторым старушкам не нужно было на ту сторону. Но я говорил: «Пожалуйста, я переведу вас туда и обратно. И вы снова будете на этой стороне».

Они все говорили мне: «Если бы не ты, мы не перешли бы». А я говорил: «Для меня это пара пустяков».

Две или три старушки не хотели переходить. Они просто сидели на лавочке. И смотрели на ту сторону. Когда я спросил, не нужно ли им на ту сторону, они сказали: «Нам туда не нужно». А когда я сказал, почему бы им не прогуляться, они сказали: «Действительно, почему бы нам не прогуляться?» Я их всех перевёл на ту сторону. Они там сели на лавочку. Обратно они не хотели идти. Как я их ни упрашивал».

Клим много всего написал. Он был очень доволен своим письмом. И отправил письмо по почте.

Потом лето кончилось. Начались занятия. На уроке Анна Петровна сказала: — Очень многие прислали мне письма. Хорошие, интересные письма. Некоторые я вам прочту.

«Сейчас начнётся, — думал Клим. — В моём письме много геройских поступков. Все будут хвалить меня и восхищаться».

Анна Петровна прочла много писем.

А его письма не прочла.

«Ну, тут всё ясно, — подумал Клим. — Письмо в газету отправили. Там его напечатают. Может быть, будет мой портрет. Все скажут: «Ой, это он! Смотрите!» А я скажу: «Ну и что же? Для меня это пара пустяков».

В любом деле нужно уметь работать

У нас в школе открылась секция бокса. Туда записывали самых смелых. Подающих надежды. Я сейчас же пошёл записаться, потому что давно подавал надежды. Так все ребята считали. После того как я хотел Мишку стукнуть и промахнулся. И кулаком попал в стенку. И кусок штукатурки отбил.

Все тогда удивились. «Вот так дал! — говорят. — Вот это удар!» Я всё ходил с распухшей рукой и всем показывал: «Видишь? Вот у меня удар какой! Не выдерживает рука. А то я, пожалуй, и стенку пробил бы!» — «Насквозь?» — удивлялись ребята.

С тех пор за мной пошла слава сильнейшего. Даже после того, как рука прошла. И показывать было нечего.

И вот я пришёл первым в секцию. И записался. И ещё ребята пришли. И Мишка тоже записался.

Начались занятия.

Я думал, нам сразу наденут перчатки и мы будем драться друг с другом. Я всем дам нокаут. Все скажут: «Вот это боксёр!» А тренер скажет: «Эге, да ты чемпионом будешь! Надо тебе шоколад больше есть. Мы попросим у государства, чтоб государство тебя бесплатно кормило. Шоколадом и разными там сладостями. Раз такой редкий талант появился».

Но тренер не дал перчаток. Он выстроил нас по росту. Сказал: «Бокс — дело серьёзное. Пусть все об этом подумают. А если кто из вас по-другому думает, то есть что бокс несерьёзное дело, пусть тот спокойно покинет зал».

Зал никто не покинул. Построились в пары. Как будто бы не на бокс пришли, а на урок физкультуры. Потом разучивали два удара. Махали руками по воздуху. Иногда тренер нас останавливал. Говорил, мы неправильно делаем. И начиналось сначала. Один раз тренер сказал кому-то:

— Вон там, в широченных штанах, что ты делаешь?

Я вовсе не думал, что это мне, а тренер ко мне подошёл и сказал, что я бью левой рукой вместо правой, в то время как все бьют только правой, и неужели нельзя быть внимательней.

Я обиделся и не пришёл больше. Очень мне нужно, думал я, заниматься какой-то глупостью. С моим-то ударом! Когда я стенку могу пробить. Очень мне всё это нужно! Пусть Мишка там занимается. И другие. А я приду, когда будут драться. Когда наденут перчатки. И тогда мы посмотрим. Очень мне нужно просто руками махать! Это прямо смешно.

Я перестал ходить в секцию.

Только Мишку спрашивал:

— Каково? Всё руками машете?

Я всё смеялся над Мишкой. Дразнил его. И всё спрашивал:

— Ну, каково?

А Мишка молчал. Иногда говорил:

— Никаково.

Однажды он мне говорит:

— Завтра спарринг.

— Чего? — говорю.

— Приходи, — говорит, — сам увидишь. Спарринг — это учебный бой. Мы, в общем, драться будем. То есть работать. По-нашему так.

— Ну работай, работай, — я говорю. — Зайду завтра к вам, поработаем. Захожу в секцию на другой день.

Тренер спрашивает:

— Ты откуда?

— Я, — говорю, — здесь записан.

— Ах, вот оно что!

— Я в спарринг хочу.

— Ну! — сказал тренер.

— Ну да! — сказал я.

— Всё ясно, — говорит тренер.

Он надел мне перчатки. И Мишке надел перчатки.

— Слишком ты боевой, — сказал он.

Я сказал:

— Разве это плохо?

— Хорошо, — сказал он. — Очень даже.

Мы с Мишкой вышли на ринг.

Я размахнулся и как ударю! Но мимо. Я второй раз размахнулся — и сам упал. Значит, опять промахнулся.

Я смотрю на тренера. А тренер говорит:

— Работай, работай!

Я встал и опять замахнулся, как вдруг Мишка мне как стукнет! Я хотел его тоже стукнуть, а он мне как трахнет в нос!

Я даже руки опустил. И не пойму, в чём дело.

А тренер говорит:

— Работай, работай!

Мишка говорит тренеру:

— Мне с ним неинтересно работать.

Я разозлился, на Мишку кинулся и упал снова. Не то споткнулся, не то от удара.

— Нет, — говорит Мишка, — я с ним работать не буду. Он всё время падает.

Я говорю:

— Я не всё время падаю. Я ему дам сейчас!

А он мне в нос как даст снова!

И я опять на пол сел.

А Мишка уже перчатки снимает. И говорит:

— Нет, это просто смешно мне с ним работать. Он совсем не может работать.

Я говорю:

— Ничего нет смешного... Я сейчас встану...

— Как хочешь, — говорит Мишка, — можешь и не вставать, это вовсе не важно...

«Козёл-баран»

У нас в школе есть урок пения. Мы там разные песни поём. Я вообще люблю песни петь, только слов я иногда не знаю. Учить слова никому неохота.

Хорошо, когда сразу запомнишь. Только разве сразу запомнишь?

Однажды Вовка пел песню. Он совсем слов не знал. Так он пел другие слова. Какие попало. И никто не заметил.

В одной песне я тоже слов не знала. Учитель вызвал меня эту песню спеть. Я сказала учителю:

— Пожалуйста, я вас прошу погромче. А то мне не слышно будет.

А про себя думаю: «Он не услышит, что я буду петь, а я буду петь что попало».

Он посмотрел на меня и сказал:

— С удовольствием! — И заиграл во всю силу.

А я тихо запела. Я пела два слова: «Козёл-баран». Только мотив я верно пела.

А слова были «козёл-баран».

Учитель не остановил меня. Он не сделал мне замечания. Только когда я петь кончила, он спросил:

— Хорошо было слышно?

— Хорошо, — говорю, — очень даже!

— А теперь, — говорит, — я играть буду тихо. А ты пой погромче. Только, пожалуйста, без козла. И без барана, конечно...

А сегодня ей опоздать нельзя

Кто Валю не знает? Всегда опаздывает на линейку. А тут вдруг до сигнала явилась.

Стоит одна, улыбается. Не шелохнётся, руки по швам. Ждёт звука горна.

Удивляются ребята. Удивляется вожатый.

Только Валя не удивляется.

Сегодня ей опоздать нельзя.

Вчера она помогала на кухне.

Начистила целый таз картошки.

Сегодня ей благодарность вынесут!

Второклассники и старшекласники

Второклассники были взволнованы. Они шумели. Вот один октябрёнок влез на стул и, обращаясь к старшим, сказал:

— Вы наши шефы. Мы все вас очень любим. И поэтому мы вам хотим помочь. Вы плохо натёрли пол в коридоре. Он совсем не блестит. А он должен блестеть — это каждый знает. Разрешите, пожалуйста, нам это сделать. Натереть пол в коридоре, чтоб он блестел.

Старшекласники были очень сконфужены. Они написали в стенгазету: «Мы шестиклассники. Нам стыдно вчерашних позорных минут. Мы переживаем. Мы плохо натёрли пол в коридоре. И мы благодарны второму «А», который пришёл нам на помощь. Но мы исправим свою ошибку. Мы в скором времени соберёмся и все вместе, всем коллективом, натрём пол до блеска. Пусть второклассники не беспокоятся. Всё будет сделано. Мы всё сделаем сами».

Но октябрята не стали ждать. Они натёрли пол в тот же день. А на другой день прочли стенгазету. И написали свою заметку.

«Мы, второклассники, извиняемся. Мы без разрешения натёрли пол. Не переживайте. Мы всё сделали сами».

Пятнадцать третьих

Все столпились возле бильярда.

— Довольно играть просто так, — сказал он. — Я играю на третье. К примеру, кисель дадут, или компот, или там шоколад, ну не важно что, ясно?

Всем было ясно. Стали играть.

К обеду он выиграл пятнадцать третьих.

Подали чай. Все кричали:

— Чай! Чай!

Даже повар сказал:

— Во как любят чай!

Он залпом выпил один стакан, второй, третий, четвёртый...

— Стойте... — сказал он. — Сейчас... погодите...

Залпом он уже пить не мог.

Все обступили его. Он сидел перед стаканами, тяжело вздыхал, говорил «погодите» и отпивал каждый раз по глотку.

Кругом шумели. Давали советы. Кто-то пощупал его живот.

— Живот не хватать, — сказал он, — нечестно...

Но больше он уже пить не мог. Он стал бледен, таращил глаза и икал.

Позвали водителя.

— Что с ним такое? — спросил вожатый.
— Да вот чаю попил, — сказал кто-то.
С трудом его подняли со стула. Взяли под руки. И повели.

Крути снежные вертя

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя... —
орал я на весь дом.
Я отложил книжку в сторону и с выражением прочёл:
Кроя мглою бурю кроет,
Крути снежные вертя...
Что-то не то. Я опять начал снова:
Буря мглою...
Я забыл вдруг, что буря кроет. Я стал думать и вскоре вспомнил. Я так обрадовался, что начал снова:
Буря кроет небо мглоет...
МГЛОЕТ? Что это такое? Мне стало не по себе. Такого, по-моему, не было. Я поглядел в книжку. Ну так и есть! МГЛОЕТА нету!
Я стал читать, глядя в книжку. Всё получалось как в книжке. Но как только я закрыл книжку, я вдруг прочёл:
Утро воеет небо могилою...
Это было совсем не то. Я это сразу понял. Я всегда вижу, когда не то. Но в чём тут дело, в конце концов? Почему я никак не запомню?
— Не нужно зубрить, — сказал старший брат, — разберись, в чём там дело.
Я стал разбираться: значит, буря покрывает небо своей мглою и в то же время крутит что есть силы снежные вихри.
Я закрыл книжку и чётко прочёл:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
Больше я не ошибался

Пароход и лошадь

Когда я ходил в школу, в первый класс, я любил рисовать пароходы. Я всем хвалился: вот какие замечательные пароходы я могу рисовать!
И вот однажды я спросил одного мальчишку, может ли он нарисовать такой же замечательный пароход. Я тут же нарисовал большой пароход с трубами, всё как полагается. Потом я подрисовал море синим карандашом, а красным карандашом — флаг на мачте, и получилось совсем хорошо: плывёт по морю

пароход, а на мачте у него развевается красный флаг.
Мальчишке понравился мой корабль, но он мне сказал:
— Я могу лошадь нарисовать.
И он нарисовал лошадь.
Эта лошадь была так хорошо нарисована, что я больше не хвалился своими пароходами, потому что такую лошадь я не сумел бы нарисовать никогда!

Дело не в том, что я мяч не поймал

Я вообще вратарь неплохой. А тут вот случилось такое. Стою я в воротах.
Вдруг гляжу — Таня идёт.
Я сразу вратарскую позу принял. И одной рукой защищаюсь от солнца.
И всё из-за солнца вышло. Солнца-то не было. Я из-за позы всё.
И тут мне — бац! — гол забили.
Я прыгнул — поздно.
На уроке Таня записку мне пишет: «Ты очень здорово падаешь».
Ох и разозлился я! Значит, я только падаю здорово, а вратарь, значит, я никудышный? Не буду с ней разговаривать.
Целый месяц с ней не разговаривал.
Через месяц стал разговаривать. Ей и вправду понравилось, как я падал. Как в кино, говорит.
Зря я месяц с ней не разговаривал.

Абсолютно верно

— Ты опять завтракаешь на уроке?
Валя быстро спрятала завтрак в парту.
— Что будет, — сказал учитель, — если все будут завтракать на уроке?
Класс зашумел. Потому что каждый хотел сказать, что тогда будет.
Коля сказал:
— Будет очень смешно!
Миша сказал:
— Жеванье будет!
Маша сказала:
— Все сытые будут!
— А чего не будет? — спросил учитель.
Класс молчал. Чего не будет — никто не знал.
Учитель хотел уже сам ответить, как вдруг кто-то крикнул:
— Урока не будет!
— Абсолютно верно! — сказал учитель.

Как я встречал новый год

Новый год в двенадцать часов приходил, а я в это время всегда уже спал. Прошло столько Новых годов! А я ни одного не видел. И мама и тётя Вера встречали его, а я спал. Я всегда засыпал перед Новым годом. А просыпался утром, и мама мне дарила подарки и говорила: «Ну вот, Новый год!» Но я-то знал, что он ночью был. А сейчас его нету.

Я спрашивал маму:

— Ты его встретила?

Мама мне говорила:

— Встретила.

— И ты его видела?

Мама смеялась.

— Конечно, видела!

— И папа видел, и тётя Вера?

Так мне обидно было!

Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках. Как на новогодней открытке. В двенадцать часов он стучится в дверь. И его все встречают. Все обнимаются с ним, хлопают по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то приехал!» Он вытаскивает из мешка подарки, всё дарит, кому что надо, и говорит: «Я спешу. Меня ждут в других квартирах». Все провожают его до угла, потом возвращаются и идут спать. Вот так представлял я себе Новый год.

Как старался я не заснуть в Новый год! И каждый раз засыпал где попало. А просыпался всегда в кровати. И рядом были подарки.

Мой брат раньше меня встретил Новый год. Несмотря на то, что он младше меня. Он вот что сделал. Чтоб не заснуть, он залез под стол. Сначала он там, конечно, заснул, а когда все сели за стол, стало шумно. И он моментально проснулся. И вы знаете, что он сказал мне? Он мне сказал:

— Его не было.

— Как так не было?! — сказал я.

— Очень просто.

— А ты там не спал под столом? — спросил я.

— Вот ещё! — говорит Котька. — Бой часов был, это верно. А Нового года не было. Как только все стали кричать: «С Новым годом!» — я вылез.

— Кого же тогда вы встречали?

— Новый год, — говорит Котька.

— Как же так вы его встречали? Разве так в жизни бывает? Если ты,

например, меня встречаешь, то ты видишь, что ты меня встречаешь. А то как же ты меня встречаешь, если ты меня не встречаешь?

— Сам увидишь, — говорит Котька. — На будущий год увидишь. Никакого там Нового года не будет. Бой часов будет. А Нового года не будет.

— Наверно, ты спал под столом, — говорю, — и сквозь сон слышал бой часов. А Нового года не видел.

— Я не спал, — говорит Котька.

— Значит, спал, — говорю, — раз не видел.

— Ты сам спал, — говорит Котька.

— Я-то спал, — говорю, — но ты тоже спал. Только я спал в кровати, а ты — под столом. Лучше бы ты уж спал в кровати.

— Я не спал, — говорит Котька.

— Почему же тогда ты его не видел?

— Его не было, — говорит Котька.

— Ты просто спал, — говорю, — вот и всё!

На этом наш спор закончился.

Он обиделся и ушёл. И хотя он на меня обиделся, всё равно я думал, что он там спал и не видел Нового года с подарками.

Вот так я себе представлял Новый год, когда был совсем ещё маленький.

Так всегда бывает

Мяч свой я у них отобрал. Потому что мяч мой. Кидаю мяч в стену и сам ловлю. Очень мне все нужны! Хватит мне этой стенки. Вот я и ловлю мяч от стенки. А Гога кричит:

— Смотрите-ка, он сам с собою играет!

Разве я сам с собою играю? Я со стеной играю.

Пёс Катушка ко мне привязался, вокруг бегаёт, машет хвостом.

А Гога кричит:

— Ой, смотрите, с Катушкой играет!

— Не я с Катушкой играю, а Катушка со мной играет.

И продолжаю играть.

Играю себе и играю.

Вдруг пёс Катушка — цап мячик! — и всё...

Превратился мячик в лепёшку.

А Гога орёт:

— Так всегда бывает!

Врёт, наверное...

Друзья

Андрюша и Славик друзья.

Они всё делают вместе. Когда Андрюша упал с веранды, Славик тоже хотел упасть с веранды, чтоб доказать, что он истинный друг.

Когда Славик пошёл вместо школы в кино, то Андрюша тогда был с ним вместе.

А когда они принесли в класс кошку и учитель спросил, кто из них это сделал, Андрюша сказал:

— Это Славик сделал.

А Славик сказал:

— Это всё Андрюша...

Кисель

Одному пионеру в пионерский лагерь мама привезла кисель. Она привезла его в маленьком жбанчике.

Надо сказать, она зря привезла. Там прекрасно кормили. Четыре раза. И, в общем, кисель был совсем ни к чему.

Но раз она привезла его, сын взял кисель, чтобы мать не обидеть. И обещал непременно съесть. Чтоб к учебному году поправиться.

Этот мальчик, его звали Федя, был добрый. Он взял этот жбанчик, принёс к ребятам и прямо сказал:

— Кому надо кисель?

Но ребята все были сыты. Они ему прямо сказали:

— Мы не хотим.

Тогда он стал думать, куда деть кисель, раз уж так получилось. Но он ничего не смог придумать. Поставил жбанчик на тумбочку. А сам пошёл прогуляться.

Он гулял, бегал, поужинал.

А вечером он пошёл спать.

Перед сном подумал о жбанчике. Но не надолго. Он скоро уснул.

Ночью проснулся, опять видит — жбанчик. Что делать? Не выливать же кисель!

Тогда он решил: «Днём нас кормят. А ночью не кормят. Вот самое время съесть кисель!»

Он немного отпил из жбанчика. И разбудил соседа.

Тот, правда, не понял, в чём дело. Но выпил всё остальное.

После этого оба заснули.

А к учебному году поправились.

Больные

- У тебя правда нога болит?
- Никакая нога у меня не болит! А у тебя в животе правда колет?
- Ничего у меня в животе не колет. Ловко мы с тобой в классе остались!
- Ребята сейчас там на физкультуре прыгают, а мы с тобой сидим — красота!
- Эх, хорошо просто так сидеть!.. Давай через парту прыгать!

Вязальщик

Конечно, вы удивитесь. потому что я мальчик... но не в этом дело. дело в том, что я вязать умею. Меня бабушка научила. Я сам себе шапочку для катка связал.

Так вот. Надо мной все смеяться стали:

- Эх ты, девчонка! Это только девчонки вяжут! А мальчишки не вяжут! Эх ты!..

Очень мне неприятно было. Кому приятно, когда тебя дразнят. Я пробовал даже отказываться. Уверял, что не умею вязать. Ну чуть не плачу! Но Шурик видел, как я вязал. Он ко мне приходил и видел. Он мне говорит:

- Не ври! Я видел!

Стали меня звать вязальщиком.

- Вон вязальщик пришёл!.. Эй, вязальщик! Вязальщик пришёл!..

Представляете, какой ужас?!

Но я вязать продолжал. Всё равно ведь дразнят! Лучше уж продолжать вязать. И бабушка говорит:

- Ты вяжи, вяжи, а то тебя зазря дразнят.

Связал я себе свитер. Такой жёлтый свитер с полосками. Полоски зелёные. Очень красиво. Правда, бабушка помогла. Но в основном я всё сам связал. Прихожу в этом свитере в класс.

Ребята увидели свитер. И не дразнят. А только смотрят.

Потом Шурик вдруг говорит:

- Вот это свитер!..

И Мишка тоже:

- Вот это свитер!..

Я не выдержал, говорю:

- Сам связал!
- Да ну? — удивились ребята.
- Уж что-что, — говорю, — а вязать я умею.

Смотрят ребята на свитер. Нравится им свитер.

Никто уж не дразнит, конечно. Чего уж тут дразнить. Вязальщиком быть

совсем не плохо. Это всем стало ясно.

Я смотрю в окно

Я жду окончания урока. Смотрю со двора в окно класса. Мой папа стоит у доски, что-то пишет.

Я вижу весь класс. Вон сидит толстый мальчишка. Я вижу, как он лезет в парту, берёт булку и сунёт в рот. Правда, булка не очень большая, но как мог он её запихать всю в рот? Это очень меня удивило. Он даже не смотрит на папу. Он смотрит куда-то в сторону и всё жуёт и жуёт.

Вон рыжий стучит крышкой парты. Он стучит не так чтобы сильно, но я слышу стук...

Вон скорчил рожу мальчишка, потом вдруг запел. Поёт он не очень громко, но я слышу, как он поёт:

С моей родною конницей

Связался я навек...

А папа стоит к ним спиной. Но доске что-то пишет. Он не слышит, наверное, ни стука, ни песни, не видит, как толстый ест булку...

Мальчишка поёт всё громче:

С моей родною конницей

Связался я навек...

Вот папа кончил писать. Он повернулся к классу. Убрал со лба волосы.

Положил мел.

Стук и пение прекратились.

Только толстый мальчишка жуёт. Он не может сжевать свою булку. Ещё бы! Правда, булка не очень большая, но сразу её не сжжёшь.

— Вы поняли? — говорит папа.

— Поняли! — кричит толстяк. Он почти что сжевал свою булку.

Я не думаю, чтобы он понял. Он ведь ничего не слышал. Он совсем не смотрел на доску.

— Все списали? — говорит папа.

— Все! — кричит толстый мальчишка. Хотя он ничего не списал. Я же видел.

— Запишите задание на дом.

Папа диктует задание. Но записывают не все. Я же вижу, кто записывает, а кто не записывает.

Я отхожу от окна. Мне не хочется, чтоб меня папа увидел. Не знаю сам почему.

Сейчас будет звонок, папа выйдет.

Я жду папу возле дверей. Я часто сюда прихожу. Жду здесь папу. И мы с ним идём домой. Правда, дом наш напротив школы. Но что ж из этого? Так

веселей мне и папе.

Скоро и я пойду в школу. Неужели и я точно так же не буду слушать учителя, а только буду стучать крышкой парты и вот так на уроке пихать булку в рот и петь песни?

Нет, ни за что на свете!

А вот и папа!

Мы с ним обнимаемся. И вместе идём домой.

Секрет

У нас от девочек секреты. Мы ни за что на свете не доверяем им свои секреты. Они по всему свету могут разболтать любую тайну. Даже самую важную государственную тайну они могут разболтать. Хорошо, что им этого не доверяют!

У нас, правда, нет таких важных секретов, откуда нам взять их! Так мы их сами придумали. У нас был такой секрет: мы зарыли в песок пару пулек и никому не сказали об этом. Был ещё секрет: мы собирали гвозди. Например, я собрал двадцать пять самых разных гвоздей, но кто знал об этом? Никто! Я никому не проболтался. Сами понимаете, как нам трудно приходилось!

Через наши руки прошло столько секретов, что я даже не помню, сколько их было. И ни одна девочка не узнала ничего. Они ходили и косились на нас, разные кривляки, и только о том и думали, чтобы выудить у нас наши тайны. Хотя они у нас ни разу ни о чём не спрашивали, но ведь это ничего не значит! До чего хитрые всё-таки!

А вчера я хожу по двору с нашей тайной, с нашим новым замечательным секретом и вдруг вижу Ирку. Я прошёл мимо несколько раз, и она на меня покосилась.

Я ещё походил по двору, а потом подошёл к ней и тихо вздохнул. Я нарочно несильно вздохнул, чтобы она не подумала, что я специально вздохнул.

Я ещё раза два вздохнул, она опять только покосилась, и всё. Тогда я перестал вздыхать, раз никакого от этого толку нету, и говорю:

— Если бы ты знала, что я знаю, ты бы прямо здесь, на месте, провалилась.

Она опять покосилась на меня и говорит:

— Не беспокойся, — отвечает, — не провалюсь, как бы ты сам не провалился.

— А мне-то чего, — говорю, — проваливаться, мне-то нечего проваливаться, раз я тайну знаю.

— Тайну? — говорит. — Какую тайну?

Смотрит на меня и ждёт, когда я ей начну рассказывать про тайну.

А я говорю:

— Тайна есть тайна, и не для того она существует, чтобы каждому эту тайну разбалтывать.

Она почему-то разозлилась и говорит:

— Тогда уходи отсюда со своими тайнами!

— Ха, — говорю, — вот ещё не хватало! Твой двор это, что ли?

Мне прямо смешно даже стало. Вот ведь до чего докатились!

Мы постояли, постояли, потом вижу — она снова косится.

Я сделал вид, что уйти собрался. И говорю:

— Ладно. Тайна при мне останется. — И усмехнулся так, чтобы она поняла, что это значит.

Она голову даже ко мне не повернула и говорит:

— Нету у тебя никакой тайны. Если у тебя какая-нибудь тайна была бы, ты бы давно уже рассказал, а раз ты не рассказываешь, значит, ничего такого нету.

Что, думаю, она такое говорит? Ерунду какую-то! Но, честно говоря, я немножко растерялся. И правда, ведь могут мне не поверить, что у меня есть какая-то тайна, раз, кроме меня, никто не знает о ней. У меня в голове здорово всё перемешалось. Но я сделал вид, что у меня там ничего не перемешалось, и говорю:

— Очень жалко, что тебе доверять нельзя. А то бы я тебе всё рассказал. Но ты можешь оказаться предательницей...

И тут я вижу, она опять на меня одним глазом косится.

Я говорю:

— Дело тут непростое, ты это, надеюсь, прекрасно понимаешь, и обижаться по всякому поводу, я думаю, не стоит, тем более если бы это был не секрет, а какой-нибудь пустяк, и если бы я тебя знал получше...

Говорил я долго и много. Почему-то у меня такое желание появилось — долго и много говорить. Когда я кончил, её рядом не было.

Она плакала, прислонившись к стене. Её плечи дрожали. Я слышал всхлипыванья.

Я сразу понял, что она ни за что на свете не может оказаться предательницей. Она как раз тот человек, которому спокойно можно всё доверить. Я это сразу понял.

— Видишь ли... — сказал я, — если ты... дашь слово... и поклянёшься...

И я ей рассказал весь секрет.

На другой день меня били.

Она разболтала всем...

Но самое главное было не то, что Ирка оказалась предательницей, не то, что секрет был раскрыт, а то, что потом мы не могли придумать ни одного нового секрета, сколько мы ни старались.

Тыква в сундуке

Вы видели мою тыкву? Не видели? Я её сам вырастил. И не где-нибудь, а у нас на балконе, в старом бабушкином сундуке.

Насыпал я в сундук земли. Оторвал крышку. Посадил туда семена, и у меня тыква выросла. Я всем гостям тыкву показывал. Удивляются все и руками машут. Шутка ли, в сундуке тыква?! На выставку, говорят, её надо. В Москву. Пусть видят, какие у нас растут тыквы!

Я этой тыквой очень гордился. Я глаз с неё не спускал.

— Смотри, как выросла! — кричу маме. — Вчера она меньше была, замечаешь?

Это мне казалось, как будто она за ночь выросла. Иногда мне наоборот казалось — как будто она меньше стала. Хотя этого быть никак не могло. Я всё мечтал о выставке. Как я повезу свою тыкву не выставку. Скажу: «Вот я вырастил тыкву! В сундуке!» Мне скажут: «Какая прелесть! Неужели она в сундуке росла? Такой тыквы у нас ещё не было! Давайте сюда вашу тыкву». Положат её на полочку, прибьют рядом дощечку. А на дощечке напишут: «Сундучная тыква», потому что она в сундуке росла. А рядом моя фамилия. Потому что я её вырастил. И может быть, дадут премию.

Я всё рассуждал о тыкве. Всё поливал её. И всё спрашивал папу и маму, правильно ли я ращу тыкву. Зато папа не мог о тыкве слышать.

— Надоела мне, — говорит, — ваша тыква. Она меня просто с ума сведёт. Всё время только о ней разговоры. Я прихожу с работы. Мне хочется отдохнуть, почитать... А ко мне лезут с этой тыквой!.. Я прошу оставить меня в покое! Он уходил в свою комнату и запирался на ключ.

Со всеми я говорил о тыкве. Засыпал я с мыслями о тыкве. Просыпался с мыслями о тыкве. Снились мне сундуки и тыквы.

Решил всё сосед Алька.

— Что это? — спросил он. — Тыква?

— Конечно, — сказал я, — а ты что думал?

— Я думал, — сказал он, — что это орех.

— Какой орех?! — возмутился я.

— Какая же это тыква?

Он привёл меня на пришкольный участок. Вот там я увидел тыквы! Это были громадные тыквы. Десятки тыкв.

— Сами вырастили, — сказал Алька.

Стыдно мне было за свою тыкву. Но я сказал:

— Моя тыква — сундучная. Я её в сундуке растил!

Мы играем в Антарктиду

Мама куда-то ушла из дому. И мы остались одни. И нам стало скучно.

Мы перевернули стол. Натянули на ножки стола одеяло. И получилась палатка. Словно мы в Антарктиде. Там, где сейчас наш папа.

Мы с Витькой влезли в палатку.

Мы были очень довольны, что вот мы с Витькой сидим в палатке, хотя и не в Антарктиде, но как будто бы в Антарктиде, и вокруг нас льды и ветер. Но нам надоело сидеть в палатке.

Витька сказал:

— Зимовщики не сидят так всё время в палатке. Они, наверное, что-нибудь делают.

— Наверняка, — сказал я, — они ловят китов, тюленей и что-нибудь ещё делают. Конечно, они не сидят так всё время!

Вдруг я увидел нашу кошку. Я закричал:

— Вот тюлень!

— Ура! — крикнул Витька. — Хватай его! — Он тоже увидел кошку.

Кошка шла нам навстречу. Потом остановилась. Внимательно посмотрела на нас. И побежала обратно. Ей не хотелось быть тюленем. Она хотела быть кошкой. Я это сразу понял. Но что мы могли поделаться! Мы ничего не могли поделаться. Надо же нам ловить кого-то! Я побежал, споткнулся, упал, поднялся, но кошки уже нигде не было.

— Она здесь! — орал Витька. — Беги сюда!

Из-под кровати торчали Витькины ноги.

Я полез под кровать. Там было темно и пыльно. Но кошки там не было.

— Я вылезая, — сказал я. — Здесь кошки нет.

— Здесь она, — доказывал Витька. — Я видел, она побежала сюда.

Я вылез весь пыльный и стал чихать. Витька всё под кроватью возился.

— Она там, — твердил Витька.

— Ну и пусть, — сказал я. — Я туда не полезу. Я целый час там сидел. С меня хватит.

— Подумаешь! — сказал Витька. — А я?! Я больше тебя здесь лазаю.

Наконец Витька тоже вылез.

— Вот она! — крикнул я.

Кошка сидела на кровати.

Я чуть было её не схватил за хвост, но Витька толкнул меня, кошка прыг — и на шкаф! Попробуй её достань со шкафа!

— Какой же это тюлень, — сказал я. — Тюлень разве может сидеть на шкафу?

— Пусть это будет пингвин, — сказал Витька. — Как будто бы он сидит на

льдине. Давай будем свистеть и кричать. Он тогда испугается. И со шкафа прыгнет. На этот раз мы пингвина схватим.

Мы стали орать и свистеть что есть мочи. Я, правда, свистеть не умею.

Свистел только Витька. Зато я орал во всё горло. Чуть не охрип.

А пингвин будто не слышит. Очень хитрый пингвин. Притаился там и сидит.

— Давай, — говорю, — в него что-нибудь кинем. Ну, хотя бы подушку кинем.

Кинули мы на шкаф подушку.

А кошка оттуда не прыгнула.

Тогда мы на шкаф закинули ещё три подушки, мамино пальто, все мамины платья, папины лыжи, кастрюльку, папины и мамины домашние туфли, много книг и ещё много всего. А кошка оттуда не прыгнула.

— Может быть, её нет на шкафу? — сказал я.

— Там она, — сказал Витька.

— Как же там, раз её там нет?

— Не знаю! — говорит Витька.

Витька принёс таз с водой и поставил его у шкафа. Если вздумает кошка со шкафа прыгнуть, пусть прямо в таз прыгает. Пингвины любят в воду нырять.

Мы ещё кое-что покидали на шкаф. Подождали — не прыгнет ли? Потом подставили к шкафу стол, на стол стул, на стул чемодан и на шкаф полезли.

А там кошки нет.

Исчезла кошка. Неизвестно куда.

Стал Витька со шкафа слезать и прямо в таз плюхнулся. Воду разлил по всей комнате.

Тут мама входит. А за ней наша кошка. Она, видимо, в форточку прыгнула.

Мама всплеснула руками и говорит:

— Что здесь происходит?

Витька так и остался в тазу сидеть. До того напугался.

— До чего удивительно, — говорит мама, — что нельзя их оставить одних на минутку. Нужно же натворить такое!

Нам, конечно, пришлось убирать всё самим. И даже пол мыть. А кошка важно ходила вокруг. И посматривала на нас с таким видом, как будто бы собиралась сказать: «Вот, будете знать, что я кошка. А не тюлень и не пингвин».

Через месяц приехал наш папа. Он рассказал нам про Антарктиду, про смелых полярников, про их большую работу, и нам было очень смешно, что мы думали, будто зимовщики только и делают, что ловят там разных китов и тюленей...

Но мы никому не сказали о том, что мы думали.

Про металлолом

Толик вёз по улице старую заржавленную кровать. А Маша везла старый заржавленный якорь.

Они везут это в школу, поскольку — металлолом.

Толик говорит:

— В моей кровати весу больше, чем в твоём дурацком якорю. Значит, я больше тебя собрал.

Маша говорит:

— Это ещё неизвестно. Мой якорь весь полный, а кровать твоя надутая.

Толик даже остановился.

— Как это то есть надутая?

— Очень просто: мой якорь сплошной, а кровать у тебя не сплошная.

— А какая же у меня кровать? — говорит Толик.

Маша тоже остановилась и говорит:

— У тебя кровать надутая.

— Глупости какие! — говорит Толик. — Как это может такое быть, что она, мячик что ли?

— Она не мячик, — говорит Маша, — но тем не менее она надутая. Вот эти железки, они ведь внутри пустые. А якорь мой весь внутри полный. Он не надутый, если ты хочешь знать!

— Ржавый твой якорь! — говорит Толик.

— Надутая твоя кровать! — говорит Маша.

— С разбитого корабля твой якорь! — говорит Толик.

В это время шла мимо старушка. Она несла в сумке бананы. Старушка с бананами говорит:

— Положите вы на кровать этот якорь. И вместе всё это тащите.

Но Толик сказал:

— Это мой металлолом.

И Маша сказала:

— Это мой металлолом.

— Ах, вот оно что! — сказала старушка. — Я этого и не знала. — И она ушла.

А Толик с Машей сначала удивились, почему так сказала старушка, а потом удивились, почему они так сказали старушке, потому что не важно, чья это кровать и чей якорь. Потому что это для всех.

И они так и сделали, как им сказала старушка с бананами.

Как я всех обмануть хотел

Мне про это рассказывать даже не хочется. Но я всё-таки расскажу. Все думали, я и вправду больной, а флюс у меня был не настоящий. Это я промокашку под щёку подсунул, вот щека и раздулась. И вдобавок гримасу соорил — вот, мол, как зуб у меня болит! И мычу слегка; это я всё нарочно сделал, чтоб урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята поверили. Все жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень больно.

Анна Петровна сказала:

— Иди домой. Раз у тебя так зуб болит.

Но мне домой совсем не хотелось. Языком промокашку во рту катаю и думаю: «Здорово обманул я всех!»

Вдруг Танька Ведёркина как заорёт:

— Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне!

Как тётя Фрося разрешила спор

Заспорили во дворе ребята, кто больше всех загорел за лето.

— Я больше всех загорел, — сказал Вова.

— Нет, я, — сказал Петя.

— У тебя уши белые, — сказал Вова.

— Уши не в счёт, — сказал Петя, — я в шляпе ходил.

— Нет, в счёт! Ты без ушей загорал, а я вместе с ушами! Значит, я больше всех загорел. Кого хочешь спроси.

Спросили Лёшу.

— Больше всех я загорел, — сказал Лёша.

— Ты не загорелый, а грязный.

— Сами вы грязные!

— Кого хочешь спроси, каждый скажет: ты грязный.

Спросили Алика.

— Больше всех я загорел, — сказал Алик.

А тётя Фрося сказала:

— Какие вы все загорелые!

И никто больше спорить не стал.

Чего зря спорить!

Кому что удивительно

Танька ничему не удивляется. Она всегда говорит: «Вот уж не удивительно!»

— даже если бывает и удивительно. Я вчера на глазах у всех перепрыгнул

через такую лужу... Никто не мог перепрыгнуть, а я перепрыгнул! Все удивились, кроме Тани.

«Подумаешь! Ну и что же? Во уж не удивительно!»

Я всё старался её удивить. Но никак не мог удивить. Сколько я ни старался.

Я из рогатки попал в воробышка.

Научился ходить на руках, свистеть с одним пальцем во рту.

Она всё это видела. Но не удивлялась.

Я изо всех сил старался. Что я только не делал! Залезал на деревья, ходил без шапки зимой...

Она всё не удивлялась.

А однажды я просто вышел с книжкой во двор. Сел на лавочку. И стал читать. Я даже не видел Таньку. А она говорит:

— Удивительно! Вот не подумала бы! Он читает!

Судьба одной коллекции

Собирать, конечно, всё можно. Что хочешь, то и собирай. Хочешь, сначала собирай — потом не собирай. Хочешь, марки собирай, хочешь — спичечные коробки, хочешь — камни. Хочешь, собирай всё вместе: камни, марки, коробки и ещё что-нибудь в придачу. Это, как говорится, дело личное. Натаскай себе разных булыжников в комнату и живи в своё удовольствие! Если только мама позволит. Хотя камни бывают разные. Некоторые камни полезно собирать. Марки тоже полезны. Знакомишься с разными странами, королями, президентами; сталкиваешься, если можно так выразиться, с историей, географией. Полезно собирать книги. Про книги и говорить нечего. Тут пользы — масса. Опять-таки если читать их. А если так, на полке стоят, пользы тоже немного.

Одна девочка, Маша Мишкина, собирала фотографии артистов. Ничего в этом плохого, безусловно, нету. Но говорить о пользе тут тоже трудно. Ну какая тут может быть польза? Разве только сказать при случае: «А как же! Я этого артиста знаю. У меня есть его фотография». На это можно ответить: «Ну и что же?» На свете есть куда более полезные вещи, чем эти фотографии.

И вот эта девочка Маша насобирала ужасно много фотографий артистов. Собирать уже вроде некуда — стены все в фотографиях, альбомы полные. Родители смотрят на это безобидное занятие и про себя думают: «Ну и слава Богу, наша дочка занята делом». (Хотя никакого дела здесь, безусловно, нет.) Только иногда отец скажет: «Опять вокруг какие-то незнакомые лица». На

это дочка ему отвечала: «Эх ты, папа! Как же ты их не знаешь?! Их каждый знает!» И отец даже немного сконфузился после такого ответа.

Он был занятой человек, директор какого-то крупного учреждения, и его не очень-то радовали эти фотографии. Поскольку они ему ни о чём не говорили. Но против он тоже не был. Он просто был безразличен. Только когда он уставал, эти фотографии его раздражали. Но это бывало редко. В основном он был крепкий человек и почти не знал усталости. А Машина мама — наоборот, она даже радовалась, что у её дочки столько фотографий, гораздо больше, чем у других детей. А Маша видит такое дело — вовсю знает старается. Большого успеха она достигла, меняя одни фото на другие. К примеру: «Вот вам такой артист, а вы мне дайте такого». Или: «Я вам двух этих, а вы мне двух тех». Она не очень-то хорошо знала фамилии артистов. Одних она, правда, видела в кино, а других и вовсе нигде не видела, но если ей говорили, что это именно артист, а не какая-нибудь другая личность, она моментально загоралась приобрести эту фотографию. Один мальчишка предложил ей несколько карточек своих старших братьев, уверяя её, что это артисты. И она за эти фотографии отдала ему несколько книг, в том числе «Моби Дик, или Поиски белого кита» и «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». Она методично писала письма в различные советские и иностранные журналы с просьбой выслать ей фотографии артистов. Хотя каждому ясно, что журналы существуют не для этого. Своими письмами она отвлекала людей от работы, занимала их золотое время. Получая такое пустячное письмо, работник издательства разводил руками и, наверное, возмущался.

Несмотря на то что ни один журнал ей ничего не прислал, она насобирала столько этих фото, что можно удивляться. В итоге у неё появилось по нескольку одинаковых артистов: шесть одних, пятнадцать других, двадцать пять третьих. Это уж вроде совсем ни к чему. Но она не останавливалась. В любом деле трудно остановиться, если оно тебя захватывает. Хотя каждому ясно, что эта меняловка бессмысленна. А она за одной какой-то фотографией обегала весь город и даже собиралась просить отца, чтобы он взял её с собой в Москву, когда поедет в командировку. Отец как-то невнимательно отнёсся к этой просьбе, и она, может быть, именно из-за этой фотографии осталась на второй год. Она потратила уйму времени, чтобы достать её в своём родном городе. Для родителей это было полной неожиданностью, но они пока не понимали причины. Вскоре и родители увидели некоторую неприятную сторону этой коллекции. Самые любимые и ценные семейные фотографии: отец с матерью на фоне орла в Ессентуках, мать по горло в воде

в Японском море, отец на лошади с шашкой в период гражданской войны, дед с Георгиевским крестом, бабка с девятью детьми — все эти редчайшие семейные фотографии были выкинуты из альбома и неизвестно куда делись. На их месте появились совсем не знакомые отцу люди. У родителей даже слёзы появились на глазах. И они прямо спросили её, куда она дела семейные фотографии. А Маша, не понимая их расстройств, говорит: «Неужели вы не видите, что эти снимки гораздо ценнее ваших?» Тогда рассерженный отец хватает у неё этот альбом и кидает его в форточку. Во время полёта десятки фотографий выскакивают из альбома и летят по воздуху, кружась и перевёртываясь. Потом альбом приземляется во дворе, а за ним многочисленные фото. Маша всё это видит, и сердце у неё захватывает от такой ужасающей картины. Отец говорит ей: «Чтобы больше я не видел у себя этих незнакомых лиц!»

Маша в слезах бежит во двор, но альбома там не находит. Только одна карточка не очень популярного артиста валялась на песке. А когда она возвратилась, рассерженный отец посрывает со стен ещё несколько фотографий.

Но, как ни странно, это на неё не подействовало. Она не собиралась расставаться со своей коллекцией. Она продолжала её пополнять с ещё большим рвением.

Альбомы с фотографиями и солидные пачки, перевязанные бечёвкой, она прятала в какие-то тайники, которые ни одна живая душа не могла бы найти, не говоря уже о родителях. Когда родители уходили, она бросалась к своим тайникам и пересчитывала, перекладывала свою ценность. Дел у неё по горло было, как видите. Отдохнуть ей было некогда. Всё время она узнавала, что существуют какие-то фото, которых она не имеет. Никакого конца видно не было. Хлопот у неё не убавилось, а, наоборот, как бы это сказать, прибавилось.

У неё вся жизнь как-то боком пошла. В кино она не ходила. В Театр юного зрителя не ходила. В зверинец не ходила. В музеи не ходила. Никуда она не ходила. На футбол и подавно не ходила. В школу тоже почти не ходила. Иногда появлялась, правда, но очень редко.

Её взгляд устремлён был вдаль — пустой, странный взгляд. Там, вдали, ей, наверное, чудились какие-нибудь редкие фотографии артистов, которые она не успела приобрести...

Мы не знаем, чем всё это кончилось. Может быть, она приобрела ещё несколько экземпляров для своей коллекции...

Но потеряла она гораздо больше.

Удивительная профессия

Как только погас у нас в комнате свет, к нам сейчас же стали стучать соседи. Они спрашивали: «Что такое?» Мы с мамой тоже пошли стучать к соседям и спрашивать: «Что такое?»

Но никто ничего не знал, и все только спрашивали: «Что такое? Что случилось?» Только один дядя Яша сказал:

— Ничего не случилось. Погас свет — и всё. Перегорели пробки.

Все собрались на улице возле подъезда.

— Вот ещё новость!

— Как это так! Никогда так не было!

Все говорили, что дело не в пробке, а где-то в сети, а я спрашивал, где эта пробка и сеть, но мне никто не ответил.

Дядя Яша пошёл звонить монтажерам, а все стали говорить, как погас свет.

Тётя Нюша сказала:

— Вы знаете, как только это случилось, моя кошка кинулась в кухню и съела там свежую рыбу.

Тётя Женя сказала:

— Вы слышите? Это кричит мой ребёнок. Он будет кричать, пока свет не зажгут.

Тётя Ира сказала:

— Не верится, что раньше жили без света. С какими-то свечками. С лампами, которые коптят. Жили в каком-то жалком мерцании. В каких-то потёмках.

Наша бабушка сказала:

— Как же, помню! Ещё как помню! И ламп-то у нас не было. Темень. Мрак. Ничего не видно.

Бабушка наша жила при царе. До сих пор возмущается царским режимом.

Как начнёт — не остановится. Но тут монтажеры приехали.

Я смотрю, как будут свет зажигать. Интересно ведь!

Подъезжает к столбу машина. Вместо кузова круглый такой балкончик. В этот балкончик залез монтажёр. И балкончик стал вверх подниматься. Монтажёр добирается до проводов. И что-то там с проводами делает.

И загорается свет во всём доме.

Монтажёр говорит:

— Всё в порядке!

Наша бабушка говорит:

— Удивительная у вас профессия!

Монтажёр говорит:

— Это дело простое...

Тётя Ира говорит:

— Замечательное ваше дело!

Тётя Женя говорит:

— Вы слышите? Мой ребёнок смеётся.

Тётя Нюша говорит:

— Зашли бы в гости. Я для вас свежей рыбы нажарю.

Монтёр отвечает:

— Я рыбу люблю. Но нас ждут в другом доме.

И он уезжает в своей машине.

Я смотрю вслед и думаю: «Вот бы мне ездить в такой машине! Я нёсся бы во весь дух по улицам. Я просил бы шофёра: «Скорей! Скорей!» Мы обгоняли бы все машины. Даже, может быть, пожарную машину. И люди бы, глядя на нас, говорили: «Смотрите! Смотрите, монтёры едут! Удивительная у них профессия!»

Карусель в голове

К концу учебного года я просил отца купить мне двухколёсный велосипед, пистолет-пулемёт на батарейках, самолёт на батарейках, летающий вертолёт и настольный хоккей.

— Мне так хочется иметь эти вещи! — сказал я отцу. — Они постоянно вертятся у меня в голове наподобие карусели, и от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах.

— Держись, — сказал отец, — не упади и напиши мне на листке все эти вещи, чтоб мне не забыть.

— Да зачем же писать, они и так у меня крепко в голове сидят.

— Пиши, — сказал отец, — тебе ведь это ничего не стоит.

— В общем-то ничего не стоит, — сказал я, — только лишняя морока. — И я написал большими буквами на весь лист:

ВИЛИСАПЕТ

ПИСТАЛЕТ-ПУЛИМЁТ

САМАЛЁТ

ВИРТАЛЁТ

ХАКЕЙ

Потом подумал и ещё решил написать «мороженое», подошёл к окну, поглядел на вывеску напротив и дописал:

МОРОЖЕНОЕ

Отец прочёл и говорит:

— Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождём.

Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю:

— До которого часу?

— До лучших времён.

— До каких?

— До следующего окончания учебного года.

— Почему?

— Да потому, что буквы в твоей голове вертятся, как карусель, от этого у тебя кружится голова, и слова оказываются не на своих ногах.

Как будто у слов есть ноги!

А мороженое мне уже сто раз покупали.

Птичка

Вышел я на перемене во двор. Погода чудесная. Ветра нет. Дождя нет. Снега нет. Только солнышко светит.

Вдруг вижу, крадётся куда-то кошка. Куда, думаю, кошка крадётся?

Любопытно мне стало. И я осторожно за кошкой пошёл. Вдруг кошка — прыг!

Гляжу, у неё в зубах птичка. Воробышек. Я хватю кошку за хвост и держу.

— А ну, отдай птичку! — кричу. — Сейчас же отдай!

Отпустила кошка птичку — и бежать.

Принёс я птичку в класс.

Кусочек хвоста у неё оторван.

Все окружили меня, кричат:

— Глядите, птичка! Живая птичка!

Учитель говорит:

— Кошки птичек за горло хватают. А здесь повезло твоей птичке. Кошка ей только хвост повредила.

Просят меня подержать дать. Но я её никому не дал. Птички не любят, когда их держат.

Положил я птичку на подоконник. Обернулся, а птички нет. Ребята кричат:

— Лови! Лови!

Улетела птичка.

Но я не горевал. Ведь я спас её. А это самое главное.

Коньки купили не напрасно

Я не умел на коньках кататься. И они лежали на чердаке. И наверное, ржавели.

Я очень хотел научиться кататься. У нас во дворе все умеют кататься. Даже маленький Шурик умеет. Мне было стыдно выйти с коньками. Все смеяться будут. Пусть уж лучше коньки ржавеют!

Однажды папа сказал мне:

— Коньки я тебе купил напрасно!

И это было справедливо. Я взял коньки, надел их и вышел во двор. Каток был полон. Кто-то смеялся.

«Начинается!» — подумал я.

Но ничего не начиналось. Меня пока не замечали. Я вышел на лёд и упал на спину.

«Сейчас начнётся», — подумал я.

С трудом поднялся. Мне было трудно стоять на льду. Я не двигался с места. Но самое удивительное было то, что никто, абсолютно никто не смеялся, не показывал на меня пальцем, а, наоборот, Маша Кошкина подбежала ко мне и сказала:

— Дай руку!

И хотя я упал ещё два раза, а всё равно был доволен. И я сказал Маше Кошкиной:

— Спасибо, Маша! Ты научила меня кататься.

А она сказала:

— Ой, что ты, что ты, я только тебя держала за руку.

Забыл

Лёня делал уроки, решал задачу.

И поставил в тетрадке кляксу. Стал искать промокашку. Ходил-ходил по комнате и в кухню зашёл. И забыл, что ему было нужно. «Зачем, — думает, — я в кухню пришёл?»

Заглянул в кастрюльку, чтоб вспомнить, — никак не вспомнит!

Сел Лёня на табуретку и думает. А в голову разные мысли лезут. О том, как он летом в пруду купался. О том, как собака его укусила. И другие ненужные мысли.

Вернулся искать промокашку в комнату. Ходил-ходил по комнате. И опять в кухню зашёл. И опять забыл зачем. Потому что о лете всё думает. О том, как в пруду купался. Как собака его укусила.

В кухне бабушка суп варила. Бабушка говорит ему:

— Что ты, Лёня, на кухню ходишь? Почему уроки не делаешь?

— Я промокашку ищу, — вспомнил Лёня.

— Промокашка ведь у тебя в руках!

Побежал Лёня к своей тетрадке. А клякса вся расплзлась.

Поиграли

Пообедав, Валерик пришёл к Лёше поиграть в игрушки.

А Лёша как раз обедал.

— Поиграй сам в комнате, — сказала Лёшина мама, — пока он поест.

Валерик пошёл в комнату играть в игрушки, а Лёша ему кричал из кухни:

— Ну, как? Хорошо играешь?

— Хорошо, — отвечал Валерик.

— А сейчас?

— Хорошо!

— Очень хорошо?

— Очень хорошо!

— И сейчас хорошо?

— И сейчас.

— А сейчас?

— Хорошо!

— И опять хорошо?

— И опять хорошо, — отвечал Валерик.

Но Лёша не унимался, продолжал спрашивать Валерика во всё горло, хорошо ли он играет, потому что ему ужасно хотелось играть вместе с ним.

Но вот Валерику тоже захотелось играть вместе с Лёшей, и он стал кричать ему из комнаты:

— Пообедал?

— Нет ещё, — отвечал Лёша.

— А сейчас?

— Тоже нет.

— И сейчас не пообедал?

— Пока нет.

— А когда?

— Ой, сейчас...

Валерик замолчал.

А Лёша продолжал:

— Ну, а теперь?

— Теперь хуже, — отвечал Валерик.

— А теперь ещё хуже?

— Ещё.

— Совсем?

— Совсем.

— Ну, я сейчас приду!

Лёша очень спешил.

Вылил суп на себя.

Раздавил помидор на рубашке.

И чуть не подавился огурцом.

— А я уже наигрался, — сказал Валерик.

— Ну вот и поиграли, — сказала мама.

Передвижение комода

Маше семь лет. Она ходит в школу в первый класс и учится на «отлично». Её ставят в пример как лучшую ученицу. А однажды вот что случилось. Она не выучила урока и вообще ничего не могла ответить. Весь класс пришёл в удивление, и все мальчики и девочки подумали: «Вот это да!»

Учитель строго взглянул на неё.

— Объясни мне, что это значит?

Маша заплакала и объяснила всё по порядку.

— У нас большое несчастье. Мама передвигала комод. А братик сидел на полу. Он крутил волчок. Волчок закатился под комод. Братик полез за волчком. И мама ему прищемила живот. Братика увезли в больницу. Все плакали очень сильно, и я не могла учить урок.

Мальчики и девочки подумали: «Вот это да!» А учитель сказал:

— Раз такое дело, это совсем другое дело. — И погладил Машу по голове.

Прошло несколько дней. Учитель встретил Машину маму. Он ей говорит:

— У вас такое несчастье. Вы придавили сына комодом. Мы все вам сочувствуем.

— Что вы, что вы! — сказала мама. — У меня нет ни комода, ни сына. У меня только дочка.

Корреспондент Гера Крошечкин

Когда у Геры Крошечкина появился фотоаппарат, он сразу стал в центре внимания. Ходит в центре, а мы по бокам. Каждый просит, чтобы его сняли, а Гера возмущается — мол, всех людей снять невозможно. А сам снял петуха. И где он его нашёл, подумать только! Во всём городе ни одного петуха не видно. Оказывается, он его на базаре сфотографировал. На базар за петухом

ходит, а своих товарищей снимать не хочет! Куда это годится?

Окружили ребята Геру Крошечкина, галдят, умоляют сфотографировать, а он важничает. Круглый отличник Миша махнул рукой и говорит:

— Да ну его! Будет петухов снимать да куриц, кому это надо!

Миша — круглый троечник (это чтоб их не путать) на Мишу-отличника полез. Заискивает перед Герой, чтобы тот его снимал почаще. Но Миша-отличник отскочил в сторону — да прямо на ногу старосте Камилле Николаевой.

А Гера эту сцену сфотографировал.

Миша — круглый троечник заорал:

— Смотрите-ка, смотрите! Успел заснять, когда Миша-отличник на Камиллиной ноге стоял, вот молодец!

Камилла заплакала, а Гера её тут же сфотографировал всю в слезах.

Камилла говорит сквозь слёзы:

— Вы же видите, какие ужасные сцены он снимает! Мне на ноге чуть пальцы все не раздавили, а для него сенсация. Вот до чего он дошёл со своим аппаратом!

Круглый троечник Миша говорит Гере:

— Я готов, пусть кто угодно стоит на моей ноге, только бы меня засняли!

Круглый отличник Миша говорит ему:

— Мы знаем, ты на всё готов, только бы не учиться. Ни одной четвёрки за всю жизнь не получил.

— И с тройками всю жизнь переводят, — ответил Миша-троечник.

— Зато тебе будет в жизни трудно, — сказал Миша-отличник.

— А тебе легко?

— Мне легче.

— А мне сейчас легче, — сказал Миша-троечник.

А Гера сейчас же эту сцену снял.

Мише-троечнику очень не понравилось, что его зафиксировали в такой момент, и он стал возмущаться, а Гера — улыбаться.

— Ты ведь сам просил, — говорит ему Гера.

— Я не так просил.

— А как?

— По-другому.

Стоит расстроенный и зевает.

И тут опять его Гера снял.

— Да ты что, нарочно? — совсем разозлился Миша-троечник. — Не смей меня снимать с раскрытым ртом!

— А ты закрой рот, — говорит Гера.

Миша-троечник так стиснул рот, что даже зубы скрипнули, тут Гера его

сейчас же и сфотографировал.

Миша испугался, что у него на фотографии теперь получится свирепое лицо, но Гера объяснил, что на фотографии не будет слышно скрипа зубов, и Миша-троечник тогда успокоился.

Камилла вытерла слёзы и говорит:

— Гера Крошечкин действительно способный человек. Он ловко успевает подмечать. Но это не всё. Что он снял? Меня плачущую, Мишу-троечника с раскрытым ртом, Мишу свирепого, Мишу расстроенного и Мишу-отличника, стоящего на моей ноге. Кому нужны такие фотографии? Разве мне, старосте, и Мише-отличнику нужны такие фотографии? Они никому не нужны, даже самому фотографу.

Но Гера сказал:

— А зато мне смешно. Я буду смотреть на ваши фотографии и показывать другим, и мы все вместе будем хохотать.

— Я тебе покажу, как надо мной хохотать! — заорал круглый троечник Миша, но Камила его остановила.

Круглый отличник Миша сказал:

— Как же он будет надо мной смеяться, если я круглый отличник? А у него две двойки. Это я над ним должен смеяться вместе с его фотоаппаратом, если на то пошло!

— А что, нельзя зевать? — раскричался троечник Миша. — Что, нельзя зевать?!

От его крика Гера Крошечкин стал всю зевать, и Миша сказал:

— Сам зеваешь, а другим не даёшь.

Но тут, глядя на Геру, все стали отчаянно зевать и долго не могли остановиться.

После этого Камила сказала:

— Наш Крошечкин со своим аппаратом вполне мог бы классу пользу принести. Если бы он имел поручение от пионерского отряда, представляете? Давайте-ка, ребята, его корреспондентом стенной газеты выдвинем. Согласен быть корреспондентом?

— Ох, наверное, это трудно, — испугался Гера.

— Легко, легко! — закричали ребята. — Мы будем только сниматься, а ты — нас снимать.

— Только вас одних снимать? — опять испугался Гера Крошечкин.

Ира-санитарка говорит:

— Заснял бы ты, Гера Крошечкин, как от нас некоторые ускользают, когда мы у них уши и руки проверяем, — и посмотрела на круглого троечника Мишу, — получилась бы у тебя отличная картинка.

Гера Крошечкин подумал и сказал:

— Это можно.

— Сфотографировал бы пушкинские места, родную нашу природу, которую воспел поэт, — сказала Камилла.

— Это верно, — сказал Гера.

И Гера Крошечкин согласился стать корреспондентом.

А для начала сфотографировал весь довольный, улыбающийся класс на фоне карты мира для праздничного номера стенной газеты.

Настоящая дружба

У Андрюшки было много друзей во дворе. Некоторые даже ходили уже в школу, но такого маленького друга у него ещё никогда не было.

Этот новый друг Вадик знал несколько слов и большую часть времени спал в коляске. И тем не менее он был настоящий друг.

При виде Андрюши он ещё издали кричал:

— А-а-а!

Всё, что у него было в руках, он протягивал своему другу и говорил:

— На!

А однажды, когда на Андрюшу залаяла большая собака, Вадик так громко заплакал, что собака поджала хвост и замолчала.

Зато Андрюша, как друг, водил малыша за руку, и благодаря этому Вадик быстро научился самостоятельно ходить. Ведь Андрюша сам в своё время не сразу научился ходить самостоятельно и, наверное, помнил об этом.

А когда мама Вадика отлучалась, всегда следил, чтобы друг его не вывалился из коляски, и Вадик, хорошо понимая это, протягивал ему руки и говорил:

— Угу.

Андрюша часто дарил ему какую-нибудь свою игрушку, и Вадик радостно кричал:

— Ага!

Теперь Андрюша ходит уже в школу и, говорят, не очень-то смирно сидит за партой, а Вадик вовсю бегаёт и ни минуты не желает сидеть в коляске.

И они по-прежнему друзья.

Два подарка

В день рождения папа подарил Алёше ручку с золотым пером. На ручке были выгравированы золотые слова: «Алёше в день рождения от папы».

На другой день Алёша со своей новой ручкой пошёл в школу. Он был очень горд: ведь не у каждого в классе ручка с золотым пером и золотыми

буквами! А тут учительница забыла дома свою ручку и попросила на время у ребят. И Алёша первый протянул ей своё сокровище. И при этом подумал: «Мария Николаевна обязательно заметит, какая замечательная у меня ручка, прочтёт надпись и скажет что-нибудь вроде: «Ах, каким красивым почерком написано!» или: «Какая прелесть!» Тогда Алёша скажет: «А вы взгляните на золотое перо, Мария Николаевна, самое настоящее золотое!»

Но учительница не стала разглядывать ручку и ничего такого не сказала. Она спросила урок у Алёши, но он его не выучил. И тогда Мария Николаевна поставила в журнал двойку золотым пером и вернула ручку.

Алёша, растерянно глядя на своё золотое перо, сказал:

— Как же так получается?.. Вот так получается!..

— Ты о чём, Алёша? — не поняла учительница.

— О золотом пере... — сказал Алёша. — Разве можно ставить двойки золотым пером?

— Значит, сегодня у тебя не золотые знания, — сказала учительница.

— Выходит, папа подарил мне ручку, чтобы мне ею двойки ставили? — сказал Алёша. — Вот так номер! Какой же это подарок?

Учительница улыбнулась и сказала:

— Ручку тебе папа подарил, а сегодняшней подарок ты себе сам сделал.

Разрешите пройти

Второклассник стоял в дверях дома и ждал приятеля.

Шёл домой пятиклассник, схватил за шиворот второклассника и закричал:

— Чего под ногами болтаешься!

Шёл домой семиклассник, схватил за шиворот второклассника с пятиклассником, чтобы они не болтались под ногами.

Шёл домой девятиклассник, схватил за шиворот в дверях второклассника, пятиклассника и семиклассника, раз они болтаются под ногами.

Затем, разумеется, семиклассник вцепился в девятиклассника, пятиклассник — в семиклассника, а второклассник — в пятиклассника. Никто не считал, что он болтается у кого-то под ногами. Не может же такого быть, чтобы люди друг у друга болтались под ногами!

Шёл домой старик.

Но разве он мог пройти?

Он сказал:

— Разрешите.

И все отпустили друг друга и пошли домой, кроме второклассника. Он опять встал в дверях.

Ведь он ждал своего приятеля. Зачем же хватать его за шиворот?
Хотя... Можно встать ВОЗЛЕ дверей!

He-a

Неимоверная чёлка закрывала глаза мальчишки и половину носа.

— Не мешает тебе чёлка? — спросил я.

— He-a.

— Меня видишь?

— He-a.

— Значит, ты даже не видишь человека, с которым разговариваешь?

— А я изредка дую на неё, и она подпрыгивает. — Скривив рот, он дунул снизу вверх, и чёлка подпрыгнула.

— И часто дуть приходится?

— А что?

— Не устаёшь?

— He-a.

— С утра до вечера дуть на свою чёлку, с ума можно сойти!

— Зато когда бежишь во весь дух, она сама разлетается в разные стороны, — похвастал он.

— Ну а когда спокойно идёшь?

Он пояснил:

— Тогда встряхиваешь головой в такт шагам, и чёлка назад отлетает.

— И обратно не прилетает?

— Я вам серьёзно говорю.

— Но нельзя ведь всё время трясти головой!

— Почему нельзя?

— Голова заболит от непрерывных трясок.

— He-a.

— Да и неудобно. Сзади, предположим, волосы тебе не так мешают, а за столом, наверное, в тарелку твоя чёлка попадает?

— Два раза в суп и три раза в кисель...

— Ну и как?

— Смешно.

— Неужели?

— А что?

— А если ты читаешь, пишешь за столом, тебе чёлка не мешает?

— He-a.

— Как же ты с ней обходишься в это время, опять дуешь?

- Читаю я в кровати, а когда пишу, одной рукой чёлку придерживаю.
- Ну и ну!
- А что?
- А телевизор когда смотришь, дуешь, держишь одной рукой или головой всё время трясёшь?
- Тогда я высоко поднимаю голову, затылком упираюсь в стену и сверху вниз смотрю, что показывают.
- И видно?
- Ну, не очень. А что?
- Тряс головой бы тогда и дул.
- От тряски экран мелькает. А дуть к вечеру я уже больше не могу...
- Сознался хоть.
- А что?
- М-да... Много у тебя хлопот.
- Не-а.
- А что? — передразнил я.
- Это вы меня спрашиваете?
- Не-а, — сказал я. — Хватит с меня.

Горка

- Эх, съехать бы с горки на санках, — мечтали малыши Петя и Вася, — а не возить друг друга за верёвочку по ровному месту. Но возле их дома горок не было. И они решили написать заявление, как это делают взрослые. Они напишут заявление и бросят его в почтовый ящик. И взрослые позаботятся, чтобы у них была горка, когда прочтут заявление. Но тут возникли сложности. Во-первых, они не знали, что такое заявление, а только слышали. А во-вторых, не умели писать, потому что не ходили в школу. Но всё-таки они вышли из положения. Спросили у первоклассника, что такое заявление, и тот сказал:
- Это такая бумажка, которая заявляет.
 - Как раз мы хотим заявить, что нам нужна горка, — сказали малыши, — но мы не умеем писать.
- Первоклассник сказал:
- Пожалуйста, я напишу вам такое заявление, и потом мы все вместе будем кататься с этой горки.
- И он написал:

«Заявляем, что нам нужна горка».

И все втроём бросили в почтовый ящик это заявление.

И вот пришли рабочие и стали строить деревянную горку возле их дома.

— Ура! — закричали ребята. — Получили наше заявление! Наконец-то строят нам горку!

— Мы строим уже десятую горку в вашем районе, — ответили строители.

И малыши подумали: «Вот это да! На одно наше заявление построили десять горок!»

Давно бы так

Зимой спортсменам раздолье: коньки, лыжи и прочее. И летом хорошо спортсменам: хочешь — плавай, хочешь — в футбол играй.

А осенью? Нет ни снега, ни солнца. Настроение у многих скверное. Начинают грустить и бездельничать. Дома сидят сложа руки. И смотрят в окно. За окном дождь и ветер. И вот они дома сидят и грустят.

Один говорит:

— Эх, зимой хорошо!

А другой:

— Эх, вот летом!

И продолжают смотреть в окно.

Один мой знакомый любил коньки. Он зимой на коньках катался. А осенью он в окно смотрел и ждал зиму.

Так вот однажды он смотрит в окно. И видит: бегут по асфальту мальчишки. Их человек пятьдесят бежит или больше. Хотя никакого снега нет. Самая настоящая осень. Кое-где даже лужи. А им хоть бы что! Ноль внимания! Они все в спортивных костюмах. И без всяких коньков. За мальчишками радостный пёсик скачет и с удовольствием на мальчишек лает.

Тогда мой знакомый что сделал?

Первым делом он от окна отошёл.

Вторым делом он вышел на улицу.

А в-третьих, он пробежал вокруг дома пять раз.

Хотя без коньков, а всё же...

Давно бы так!

Быстрее, быстрее

Наши шефы, шестой «А», соревновались с шестым «Б» — кто лучше и быстрее поможет одеться в раздевалке своим подшефным. И вот после звонка мы помчались в раздевалку, и тут началось это одевалочное

соревнование. Два шестых уже ждали своих первоклассников. Очень строгое жюри устроилось на подоконнике, чтобы лучше видеть. Пятьсотсвечовые лампочки вкрутили дополнительно к дневному свету. Самодеятельный школьный струнный оркестр расположился невдалеке. Оркестр грянул — и пошло! Ох, что тут было!

Моим шефом был Светик Костров. Он очень волновался. Как только я подбежал к нему, он заорал:

— Давай ногу! Ну! Ногу давай! Суй в ботинок ногу и не рассуждай, малыш! Нужно быстрее! Ты быстрее можешь? Ну! — С трудом он запихивал мою левую ногу в правый ботинок, и я не рассуждал. — Не везёт, вот напасть! — ворчал он и тряс меня за ногу изо всех сил.

Но я держался за вешалку и не падал. Вешалка качалась, и сверху падали шапки.

— Давай другую ногу! Побейстрее! Ну! И не рассуждать!

— Как же я тебе другую ногу дам? — сказал я. — На чём же я тогда стоять буду?

— Не рассуждай, малыш, много ты понимаешь!

— Отпусти мою ту ногу, — сказал я, — тогда я тебе дам эту.

— Ну, быстрее давай, не рассуждай!

Теперь он стал напяливать левый ботинок на мою правую ногу. И я ему сказал об этом.

— Не заметят, — отвечал он, — раньше нужно было говорить, малыш! Не время рассуждать, пойми. Где шапка? Шапка где твоя?

— Да вон Васька её нацепил.

— Чего это он? Ну, даёт! Ладно. Некогда тут рассуждать. Бери Васькину! И побейстрее!

— А Васькину вон только что сейчас Пчёлкин надел...

— Хватай тогда Пчёлкина шапку. Быстрее! Где она? Какая? Покажи мне. Вот не ожидал... никак не ожидал, что может так с шапками получиться!

— И Пчёлкиной уже нет, — говорю, — ни одной шапки нет, все расхватили...

— Без шапки иди! На авось! Выручай своего шефа! Что творится! Мы пропали! Проиграли! Вот досада... Э-э-э-эх! — Он очень суетился и вспотел. Светик ловко надел на меня пальто, и пальто было тоже чужое. И я сказал ему об этом.

— Не снимать же его, малыш! Где мы тут сейчас найдём другое? Бодрей держись! Не дрейфь! Улыбайся жюри! Как будто ты в своём пальто! Давай! И я побежал. На авось.

Пальто толстяка Вовки Ивина висело на мне мешком. Нестерпимо жали мои собственные ботинки.

— Здравствуйте, — сказал я жюри.

— У тебя с одеждой всё в порядке? — спросил член жюри.

— Так точно, всё в порядке, — сказал я по-военному.

Он смотрел на моё пальто, а я ему улыбался.

— А где шапка? — спросил он.

— А я закалённый, — сказал я, улыбаясь.

— Как это понять?

— Я в школу без шапки пришёл, — сказал я, улыбаясь.

— Ишь ты, предусмотрительный, — сказал член жюри.

— Так точно, предусмотрительный, — сказал я по-военному.

— И всегда ходишь в школу без шапки? — спросил член жюри.

— Всегда, — сказал я, улыбаясь.

— Ишь ты, — повторил член жюри. Он не знал, как со мной поступить:

засчитывать или не засчитывать, и внимательно посмотрел на мои ботинки,

— зашнурованы неплохо, ишь ты!

— Неплохо, — сказал я.

— Так все без шапок придут, — сказал он.

— Придут, — сказал я.

Тогда он сказал (в какой раз!):

— Ишь ты!.. — И добавил: — Иди.

Но другой член жюри спросил:

— Ты своё пальто надел?

В это время подскочил Вовка Ивин в моём пальто. И все члены жюри зароптали на своего придирчивого товарища, чтобы он не задерживал молодцов, которые чуть ли не самыми первыми оказались одетыми. И тогда придирчивый член жюри тоже мне улыбнулся понимающе.

Я нашёл Ваську и сказал ему:

— Побольше бы таких соревнований — тогда бы все мы научились надевать свои собственные вещи быстро, как военные по тревоге.

И Васька согласился.

— Быстрые, Костров, у вас ребятки! — сказал придирчивый член жюри моему шефу.

Светик застеснялся, надо же! Слезу даже смахнул. Подбежал ко мне, руку пожал. И то же самое сказал: побольше бы таких соревнований, в другой раз не подкачаем.

— Ни за что не подкачаем в другой раз, — сказал я.

Вдруг объявили:

— Представителям шестого «А» вместе с подшефными выйти на середину

круга, и пусть ваши ловкие и быстрые ребятки пройдут под гром оркестра, чтобы мы все могли на них полюбоваться.

Самодетельный струнный оркестр из всех своих балалаек грянул марш, а мы зашагали по кругу.

Жали мои ботинки ужасно, а Вовкино пальто болталось на мне и крутилось. С Вовки валилась шапка, и он поминутно её поправлял. И с другими нашими ребятами тоже творилось невообразимое. Ведь я был не один в жалком виде.

— Шагай, не рассуждай, малыш, — сказал мне Свет Костров.

Кругом все хохотали.

И тогда мы с Вовкой засмеялись со всеми вместе.

Фонарики

Ясный, солнечный день выдался в воскресенье. Папа взял Шурика в сельмаг и купил ему электрический фонарик, который сын давно просил.

По дороге довольный Шурик долго светил в лицо своему отцу, а во дворе — восхищённым ребятам.

Восхищённые ребята побежали к своим родителям просить деньги на фонарики.

Все ребята купили фонарики и радостно засветили в лица своим родителям. Родители жмурились и умилялись, а дети прыгали и смеялись.

Потом они светили в лица друг другу, в морды кошкам, собакам, коровам и лошадям, в глаза петухам, курицам, гусям и индюкам, а также на букашек и козявок. На всё вокруг светили без передышки.

Собаки скулили и лаяли. Кошки ничего не понимали. Курицы тоже не понимали ничего. И сами-то ребята ничего не понимали, тратя батарейки попусту. Хотя бы вечера дождались. Куда там! Светили вместе с солнцем. — Не то делаем, — понял Валерик, — давайте будем зажигать фонарики в карманах друг у друга! К примеру, я свой фонарик зажгу в кармане у Алексея, а Алексей свой карман, то есть свой фонарик зажжёт... нет, ну да — в моём кармане...

— Я сам в своём кармане зажгу свой фонарик! — заорал Алексей. — Зачем же мне его в чужой карман пихать?

И ребята уже всю зажигали и выключали в своих собственных карманах свои собственные фонарики.

— А ну-ка я в твоём кармане зажгу, — сказал Алексей Валерику.

— Ага! Что я говорил! Так интересней! — заорал Валерик, подставляя свой карман.

Менялись фонариками и зажигали во всех карманах.

— Не то делаем! Совсем офонарели! Айда в подвал! — заорал Валерик.

Ребята кинулись в подвал и долго там светили друг другу в лица.

Вконец ослеплённые, они вылезли на солнце, и самый маленький Алёшка закричал:

— А у меня, ребята, сам фонарик офонарел... клянусь, совершенно не зажигается...

Ребята стали пробовать свои фонарики, у некоторых ещё горели.

— Ничего, — сказал Валерик, — приобретём батарейки — и снова вперёд!

И ребята побежали за новыми батарейками.

И пошло всё сначала.

Но вскорости Алёшку позвали домой, хотя ужасно не хотелось уходить от своих товарищей, потому что у него ещё горел фонарик. Хотя кошки и собаки попрятались. Петухи и курицы разбежались. Козявки и букашки влезли в землю, а вот индюки никакого внимания на фонарики не обращали, и поэтому светить на них было совсем неинтересно.

Но фонарик у Алёшки ведь горел...

На другой день утром Алёшка сразу вспомнил о своём фонарике. Папа с мамой ушли на работу, а бабушка ещё спала. Обычно она собирала внука в школу. Алёшка ходил в первый класс. И вот первым делом, проснувшись, он осветил своим фонариком настенные часы. Как раз в это время бабушка обычно просыпалась. Но вчера она, наверно, умаялась за день и продолжала спать.

— Не буду включать свет, — решил Алёшка.

И он тихо вышел на цыпочках в другую комнату, освещая путь фонариком.

Сам умылся, оделся, попил молока. Уложил в сумку книжки.

«Вот он где, фонарик, пригодился, — подумал Алёшка и спрятал его под подушку. — Интересно, что сейчас другие ребята делают со своими фонариками?»

— Вставай, Алёшка, — проснулась бабушка.

— Спи, спи, бабуся, — ответил внук и вышел из дому.

Отдохни, Саня

Мальчик Саня приехал с мамой на дачу, и у него начались новые дни.

Он непрерывно носился с ребятами по пляжу, купался, играл, а к вечеру спрашивал маму:

— Что мне теперь делать?

Это был неутомимый мальчишка, он нисколько не уставал.

Мама ему отвечала в таких случаях:

— А теперь ты отдохни.

От маминых слов он сейчас же убегал к ребятам, но ребята все разбрелись по домам, и он продолжал играть сам с собой.

С самим собой ему играть быстро надоедало, и он кричал маме в окно:

— А что мне теперь делать?!

Мама брала его за руку, приводила домой и укладывала в постель, но он сейчас же вскакивал и спрашивал со слезами:

— А теперь что мне делать?!

Он долго не мог уснуть, вспоминая прошедший день: замечательный тёплый песок, зелёно-синее море; как он залезал в лодки и катера, представлял, что плывёт в дальние страны, хотя лодки и катера покачивались на привязи и никуда не плыли. Как он катался на велосипеде по тропинкам леса и даже налетел на дерево, но всё благополучно обошлось. Как он быстро и ловко промчался через рыболовецкий совхоз, куда вход категорически воспрещён. И многое, многое другое.

А утром начиналось всё сначала, и опять к вечеру он спрашивал маму:

— А что мне теперь делать?

И мама ему снова отвечала:

— Отдохни.

Но он не хотел отдыхать. Он сказал:

— Как жаль, что я не могу ходить на руках! Я вымыл бы в заливе ноги и пришёл на руках домой. И мне не пришлось бы дома мыть ноги.

— Тогда пришлось бы мыть руки, — сказала мама.

— Я мог бы вымыть руки, раз мне нечего делать.

После лета он приехал с мамой домой и сейчас же спросил:

— Что мне делать?

— Завтра тебе в первый класс, — сказала мама, — ведь ты хорошо отдохнул.

— Разве я отдыхал? — удивился Саня.

— Сейчас хоть отдохни, — сказала мама.

— Скорей бы в школу! — вздохнул он. — Тогда бы я знал, что мне делать!

И он побежал во двор к ребятам рассказывать, как он отдыхал летом.

Да отдохни ты, Саня!

Сплошные чудеса

Дело было так. Сначала я начал разгибать гвоздь в кухне на кафельном полу. А он не разгибался. Я хлопнул по нему молотком со всей силы, и три кафельные плитки разлетелись вдребезги. Целый час я возился с гвоздём.

Мне захотелось есть. Я поставил на плиту варить картошку и обнаружил пропажу гвоздя. Я сбегал на стройку и притащил пять плиток и цемент. Я взялся за работу, но, как ни старался, мои плитки никак не укладывались вровень с другими. Две проваливались очень глубоко, а одна возвышалась над всеми. Я хлопнул по двум плиткам молотком, и они разлетелись вдребезги. Я вставил на их место запасные, но они возвышались над другими, и я не решился хлопнуть по ним молотком. Стал подчищать ножичком пол, после чего обнаружил, что и теперь они проваливаются. Я густо намазал их цементом, но теперь они опять возвышались, как я ни нажимал на них. Я хлопнул по ним молотком, и они разлетелись вдребезги. Оставалось идти за новыми. Я выпросил десять плиток, но мне не удалось их уложить с другими вровень. Я хлопнул по ним молотком, и они разлетелись вдребезги.

Цемент носился по воздуху. Я кашлял и чихал. Я подмёл пол и обнаружил, что в полу теперь не хватает шести плиток, а не трёх, как раньше.

Я вспомнил о картошке, но она превратилась в угли. Ни плиток, ни картошки, ни гвоздя...

Я заглянул в кастрюлю и обнаружил там гвоздь. Сплошные чудеса!

Я принялся снова разгибать его на плитках и раскрошил ещё две плитки. Но гвоздь разогнул.

Я вбил его в стену и наконец-то повесил картину Шишкина «Утро в сосновом лесу».

Я слез со стула и отошёл подальше, чтобы посмотреть издали, не криво ли она висит. И в этот момент картина грохнулась на пол и стекло разлетелось вдребезги.

Проклятый гвоздь!

Сплошные чудеса!

Я вскочил на стул и стал со злости вколачивать гвоздь в стену, чтобы духу его больше не было, никогда его не видеть! Но он всячески изворачивался и подгибался, и мне никак не удавалось его как следует вколотить. Я подправлял его клещами и вбивал. Вбивал и подправлял. Я воевал с гвоздём. В дверь постучали. Я открыл.

— Прекратите бить в стену, — возмущённо сказала соседка, — что вы там делаете?

— Ничего... — сказал я, тяжело дыша.

— Перестаньте немедленно.

— Нет, я ему покажу!

— Кому?

— Гвоздю.

— А что с ним?
— Гнётся. Он всё время гнётся. Я его забью!
— Бессовестный мальчишка, — возмутилась соседка, переходя на «ты», — если тебе нужен гвоздь, то скажи.
Она тут же притащила горсть гвоздей. Совсем новых. Как я сразу не догадался у неё попросить!
— Вот, возьми любой гвоздь. А тот оставь в покое.
— На этот гвоздь мне нечего злиться, а с тем гвоздём я рассчитаюсь.
— Где это видано, чтобы с гвоздями рассчитывались! — сказала соседка.
— Всё равно мне теперь нечего вешать на ваш гвоздь...
— Ну, смотри мне!

Она ушла.

А я лёг на кровать и укрылся одеялом с головой.

Мне жалко было плитки.

Я ненавижу гвоздь.

Мне не хотелось есть. Ведь виноват был я.

И я уснул.

Во сне мне снились гвозди, которые сами вбиваются в стену, картошка, которая никогда не сгорает, и плитки, которые ничем не разобьёшь.

Сплошные чудеса!

Во сне всё было хорошо, но на самом-то деле всё было плохо...

Да, многого я делать не умею...

Сам не знал...

Живопись и самолёты

До войны Никита любил рисовать, особенно природу. Он даже занимался во Дворце пионеров в изобразительном кружке, и когда приезжал с родителями на дачу, не расставался с красками.

Однажды Никита расположился на опушке красивого леса и так увлёкся рисованием, что не заметил, как к нему подошёл высокий лётчик в кожаной куртке. Он долго стоял сзади, разглядывал рисунок, а потом сказал:

— Очень даже неплохо у тебя получается, малыш. Когда-то я в детстве тоже любил рисовать, а потом увлёкся авиацией и совсем забросил это дело.

Никита смутился и в то же время обрадовался необычному знакомству, у них завязался разговор про живопись и самолёты.

Никита сказал:

— Завтра в это время мне ещё придётся вернуться сюда, чтобы поработать над деревьями, солнце уже садится, и меняется освещение.

Лётчик сказал:

— Завтра в это время у меня как раз тренировочный полёт, и я непременно прилечу сюда и погляжу сверху, как у тебя получаются деревья.

Конечно, Никита подумал, что это шутка, разве сверху можно увидеть его рисунок?

Они ещё поговорили, а потом лётчик отправился на аэродром, а Никита — к себе домой.

На другой день Никита сидел на том же самом месте и услышал гул самолёта. Самолёт стал снижаться и так низко пролетел над опушкой, что Никита увидел, как лётчик высунулся из кабины и помахал ему рукой.

А вскоре началась война, и Никита увидел в газете портрет того самого лётчика, с которым он встречался на опушке леса. Лётчику было присвоено звание Героя Советского Союза за таран фашистского самолёта в ночном небе.

Война окончилась через пять лет.

И прошло ещё много лет после войны.

Лес на рисунке сильно пожелтел и выцвел.

И вырезка из газеты выцвела и пожелтела от времени.

И Никита давно уже Никита Васильевич, водит в небе реактивный самолёт.

А сын его мечтает стать художником

Не успел

Нарисовал Мишутка рисунок.

— Вот, — говорит, — это конь.

— Твой конь больше на обезьяну похож.

— Это и есть обезьяна.

— Ты же сказал, что это конь.

— Я нечаянно сказал, что это конь.

— Может быть, это не обезьяна?

— Может быть, — говорит Мишутка.

— Как же ты сам не знаешь, что рисовал? Может быть, ты утюг рисовал?

— Какой утюг? — удивился Мишутка.

— Который у нас в кухне стоит.

— Ага, утюг, — говорит Мишутка.

— Ты уверен, что ты утюг рисовал?

— А что? — насторожился Мишутка.

— Может, это и не утюг? Может, что-нибудь другое? Например, курица или верблюды?

Мишутка подумал и говорит:

— Может быть.

— Так что же это: курица? Верблюд? Утюг?

Мишутка сказал:

— Я хотел нарисовать обезьяну, курицу, верблюда и утюг, но не успел...

Рисунок

Алёша нарисовал цветными карандашами деревья, цветы, траву, грибы, небо, солнце и даже зайца.

— Чего здесь не хватает? — спросил он папу.

— Всего здесь достаточно, — ответил папа.

— Чего здесь недостаточно? — спросил он брата.

— Всего хватает, — сказал брат.

Тогда Алёша перевернул рисунок и написал на обороте вот такими большими буквами:

И ЕЩЁ ПЕЛИ ПТИЦЫ

— Вот теперь, — сказал он, — там всего хватает!

Когда споткнётся дед мороз

Шёл снег, а в снегу шли Деда Морозы. Они шли не спеша, оживлённо беседуя. Заполнив все улицы, шли Деда Морозы, и не было им конца и краю.

Снег кружился и блестел; если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только Деда Морозы могут так ходить, чтобы их лиц не было видно.

Но если внимательно прислушаться, то можно было услышать приглушённый говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами.

Каждый из Дедов Морозов нёс под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно. Этого никогда не видно, хотя каждый раз в Новый год все Деда Морозы проходят по улицам всех городов с подарками.

Иногда, когда снег не идёт, Дедов Морозов вообще не видно. Даже бород и бровей не видно. Но это бывает редко. Потому что в новогоднюю ночь снег почти всегда идёт.

Каждый раз в Новый год поздно ночью в дом к мальчикам и девочкам заходит Дед Мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с Дедом Морозом — одни

раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок у своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с Дедом Морозом, то они просто этого не помнят. Непременно встречались. Раз утром нашли подарок у своей кровати. Откуда же он мог тогда взяться, сами посудите!

Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один Дед Мороз споткнулся, выронил подарок, и очень хорошая детская игрушка, которую он нёс в подарок, сломалась об лёд, а конфеты и печенье рассыпались по снегу. Ему некогда было идти за новым подарком: утро Нового года уже подходило и он всё равно бы уже не успел. И этому Деду Морозу пришлось только потереть ушибленное колено и отправляться обратно к себе домой. Он побрёл обратно печальный и расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения.

Все Деда Морозы шли в одну сторону с подарками, а он шёл в другую пустой.

Это было, безусловно, печальное зрелище. Хотя этого никто не видел. У него даже слёзы капали из глаз; ему было очень тяжело, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Это был неудачливый Дед Мороз, как бывают и неудачливые люди. Но неудачливые люди не всё же время бывают неудачливыми. И Деда Морозы то же самое. Если он в этом году споткнулся, то не споткнётся же он опять в следующем году! И он твёрдо решил, что на следующий год он принесёт своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенье в два раза больше.

Так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получают его непременно в следующем году. И притом в двойном размере.

Я никак не думаю, что этот Дед Мороз ещё раз споткнётся, да так неудачно. Если уж споткнётся, то какой-нибудь другой Дед Мороз. А может, никто не споткнётся.

Тогда всем будут подарки.

Пять ёлок

Сначала купили сразу две ёлки: одну ёлку — папа, другую — мама. Потом пришёл дядя Миша с ёлкой.

Дядя Миша сказал:

— Эх, какая досада!

— Три ёлки нам ни к чему, — сказал папа.

— Бог троицу любит, — сказала бабушка.

— Бога нет, — сказал я.

— Бесхозьяйственность, — сказала мама.

Только мама это сказала, как вдруг входит дедушка с ёлкой.

А за ним тётя Нюша с ёлкой.

— Ура, — крикнул я, — пять ёлок!

— Я расстроилась, — говорит тётя Нюша. — Я хотела вам сделать сюрприз, а тут столько ёлок!

— Что же делать, — говорит мама, — куда же мы денем эти ёлки? Придётся их предложить соседям.

— Как это так, — говорит дядя Миша. — Я принёс ёлку Пете. И вдруг её отдают соседям!

— Я очень обижен, — говорит дед. — Я принёс ёлку внуку. И я не пойму, причём здесь соседи!

— И я! — сказала тётя Нюша. — Я не отдам свою ёлку соседям! Я принесла свою ёлку племяннику. Пусть он скажет: доволен он ёлкой?

— Конечно, доволен! — крикнул я.

Тётя Нюша сказала:

— Ну! Только попробуйте! Ёлка — его.

Папа сказал:

— Но я купил свою ёлку первым. Я выбирал её два часа. Я покупал ёлку сыну. Я не хочу об этом слышать!

— Тем более — я, — сказала мама. — К тому ж моя ёлка лучше всех, это, по моему, сразу видно.

Тётя Нюша сказала:

— Моя ёлка лучше! Вы только понюхайте, как она пахнет!

А дядя Миша взмахнул своей ёлкой так, что задел деда по носу веткой.

Бабушка тихо смеялась в углу.

Наконец всем надоело спорить. Дядя Миша сказал:

— Я так считаю. Пусть своё мнение выскажет Петя. В конце концов, эти ёлки — его.

Я сказал, что мне нравятся все пять ёлок.

— Вот и прекрасно! — сказал дядя Миша. — Ёлки Петины. Он доволен. Так в чём же дело, я не пойму!

Все согласились с дядей Мишей и начали устанавливать ёлки. Хотя это было не так легко сделать, но в конце концов ёлки установили. Потом принялись вешать игрушки. Правда, игрушек было мало, но всё равно я был очень доволен — пять ёлок все вместе в одной квартире.

Это ведь целый лес!

Потом пришёл Вовка взглянуть на ёлки.
Потом пришёл Алька из пятой квартиры.
Потом пришли Лёнька с Васькой.
Каждому я подарил по ёлке.
И мне осталась одна ёлка.
Я всё ходил вокруг неё и долго любовался ею, а потом вдруг представил себе, как стало пусто в том месте в лесу, где росли пять ёлок. Их вырубili для меня специально...
На следующий год я вырасту большой, и тогда не нужно мне будет ни одной ёлки. Хотя и сейчас я уже не малыш...

Смеяться и думать

Часто я пишу весёлые рассказы. Естественно, тут нужен смех, чтобы дети смеялись.

Однажды я читал в школе. Выбрал самые весёлые рассказы, как мне показалось. Я хотел, чтобы смеху было как можно больше, чтобы всем было весело.

Дети, в общем, смеялись, но не все. Кое-кто не смеялся. Это меня беспокоило.

Я к ним обратился с речью: «Дорогие ребята, тут кое-кто не смеялся. Так вот. Для них я напишу специально. Поработаю в полную силу. И в другой раз прочту. Чтобы смех был дружный, а не какой-то отдельный. Чтобы всем было весело». — «Что ж, посмотрим, — сказал один мальчик, — увидим».

Он как раз меньше всех смеялся. Он мне как будто не верил. Я пожал протянутую руку и сказал: «Ну что ж, увидим. Я растормошу тебя. Будешь и ты хохотать!» — «Вы так думаете? — сказал он. — Ну давайте ещё приезжайте. Я буду вас ждать с интересом». Он мне чем-то даже понравился. Своею какой-то железной невозмутимостью и простотой в обхождении с людьми. Хотя я немного расстроился. Тяжёлый слушатель попался. Но в то же время такой человек как бы советует вдуматься, пересмотреть своё творчество, писать острее, смешней.

Я написал ещё рассказы, стараясь, чтобы они были как можно смешнее. Поехал опять в эту школу и, слегка волнуясь, начал читать. Волнение моё понятно. Я сразу увидел этого мальчишку, не помню, в каком ряду. Как мне казалось, ребята смеялись больше, чем в прошлый раз, но он, этот мальчишка, даже глазом не моргнул. Он как-то весь подался вперёд, смотрел на меня и сжимал рот. Я видел только его. Тем более — был уговор. Я с трудом дочитал. Он подошёл ко мне, держа руки в карманах. У него было

удивительно довольное лицо, но рот так же сжат. Нельзя сказать, чтобы он улыбался, но было заметно: он доволен. Я же был настолько недоволен, что и говорить нечего. «Ну, как?» — спросил он. «Неужели там не было ничего смешного?» — спросил я. «Было», — сказал он. «Так в чём же дело?» — «Всё дело в воле», — сказал он. Я не понял его. Тогда он совершенно спокойно объяснил мне, что воспитывает в себе волю, и сжимает рот, и смотрит вперёд не моргая, когда ему смешно. Этим самым он закаляет свой организм, свою волю, по его мнению. «Но зачем?» — спросил я. «Чтобы полететь в космос», — ответил он вполне серьёзно.

Ответ его произвёл на меня впечатление редкое. Я даже, честно говоря, сразу не мог ему ответить, такого я не ожидал. Я вспомнил наших улыбающихся космонавтов и просто растерялся. «А Гагарин?» — спросил я. Он удивлённо открыл рот, потом сказал: «Я об этом не подумал».

После этого ответа смеялись все. Смеялся сам мальчишка. Улыбающийся, весёлый первый в мире космонавт, улыбка которого известна всему миру, — и этот мальчишка со сжатым ртом и выпученными глазами.

Это было смешно. По-настоящему.

Замечательный смех всей школы, дружный, задорный, здоровый, первоклассный, блестящий, что надо!

Вот так бы дружно всегда смеялись над зазнайством, глупостью, нелепостью, ерундой, неряшливостью, недобросовестностью, трусостью, подлостью, ложью, неусидчивостью, нечестностью, невнимательностью, несерьёзностью, необдуманностью, недоброкачественностью, неумением.

Эх, Катя, Катя

1. Как она сидела на камушке

Совсем маленькие дети плескались в волнах, а Катя сидела на камушке и не купалась.

Один мальчишка хотел потащить её в воду, но она так закричала, что он испугался и стал собираться уходить.

— Почему ты отказываешься купаться? — поинтересовался он.

— Я боюсь волн, — ответила она с таким видом, как будто говорила: «Я ничего на свете не боюсь».

— Но там ведь очень мелко, — уверял мальчишка.

— Но зато ты заметил, как я не похожа на других?

Удивлённый мальчишка говорит:

— Но ведь это очень плохо, если ты боишься.

— Зато все купаются, а я сижу.

— А зато ты сидишь, а все купаются, — засмеялся мальчишка.

— А зато ты заметил, какой у меня твёрдый характер? — И она так скрипнула зубами и вытаращила глаза, что мальчишка отбежал от неё довольно далеко и оттуда закричал:

— Сама боится, а сама пугает, чучело! Часами тренировалась перед зеркалом!

Одна женщина выходит из воды и говорит:

— А я чуть в обморок не упала от твоей гримасы. Могла бы утонуть.

— Да, я много тренируюсь перед зеркалом, — отвечает Катя, — чтобы всех пугать.

— Зачем?!

— Чтобы все меня боялись и разбежались в разные стороны.

Другая женщина входит в воду и говорит:

— Только ты меня, пожалуйста, не пугай, а то я не умею плавать.

Один загорающий мужчина говорит:

— А может, из неё вышла бы актриса на трагические роли?

— Нет, нет, — сказала женщина, вышедшая из воды, — все зрители скорей всего убежали бы из зрительного зала.

— А я бы их догнала и назад вернула, — говорит Катя.

— Ишь ты, какая шустрая, интересно, как бы тебе это удалось?

— А я как скрипну зубами — и они обратно побегут.

— Пошла бы ты в воду, — говорит женщина, вылезшая из воды, — да поучилась бы плавать.

— А мне так интересней, — отвечает Катя.

Тут многие включились в разговор:

— Я думаю, когда эта девочка вырастет, она доставит всем хлопот! С ней очень трудно будет разговаривать, а ещё труднее — работать.

— А сейчас с ней легко? Сейчас уже с ней просто невозможно разговаривать!

— И самой ей потом будет нелегко в сплочённом коллективе.

— А как она напугала этого мальчишку! Он теперь долго не появится на пляже.

А Катя сидит на камушке и потихонечку улыбается: «Вот как я заставила всех о себе заговорить! Конечно, я очень даже не похожа на других!»

2. Как она шла домой

Как всегда, переходила улицу в неполюженном месте и чуть не попала под машину.

Скрип тормозов. Толпа.

Милиционер её спрашивает:

— Ты, наверно, пионерка?

Она смотрит на милиционера вытаращенными глазами и говорит:

— Недавно...

— Куда же ты идёшь?! — возмущается шофёр.

— Домой...

— Не домой, а под машину!

— Она, видите ли, шла домой!!! — возмущается народ.

— А ещё ведь пионерка!

— Пионерка-то недавно...

— Октябрёнком-то она была! Мой внук-октябрёнок при переходе улицы ведёт меня за руку, а не я его, — похвалился старик с палкой, — и мы ни разу не попали под машину.

Милиционер говорит:

— А ведь эта девочка очень просто могла до дому не дойти.

— А я могла бы до работы не дойти, — говорит перепуганная женщина, — из-за этой девчонки машина въехала на тротуар.

— А я могла бы не дойти до магазина, — сказал кто-то.

— Неужели ты всего этого не понимаешь? — говорит милиционер.

— Я всё понимаю, — говорит Катя и продолжает вытаращенными глазами смотреть на милиционера.

Из толпы говорят:

— Может, этот ребёнок не совсем здоров, тогда другое дело.

— Как это могут родители выпускать больного ребёнка на улицу!

— Ты, наверное, нездорова, девочка? — спрашивает милиционер.

Катя сразу смекнула:

— Да, да, мне придавили голову.

— Чем?!

— Дверью.

— Кто?!

— Сосед.

Из толпы вопрос:

— Когда?

И Катя говорит:

— Вчера.

— Ребёнку нужно лежать, раз только вчера ей придавили дверью голову.

— Да, эти подвыпившие соседи совершенно не могут пользоваться дверьми!

— Да таких соседей...

Какая-то старушка говорит:

— Я знаю одного соседа, товарищ милиционер, который беспрерывно

хлопает дверьми.

Другая старушка говорит:

— А я знаю соседку, которая всё время хлопает дверьми — трах! бах! — как пушка в Петропавловской крепости, и я думаю, уже двенадцать, а ещё утро. И ещё некоторые старушки заговорили о соседях, которые хлопают дверьми.

Милиционер засмеялся:

— Этак выходит, каждый день вам всем прищемляют головы?

Две первые старушки радостно закивали головами в знак согласия, не сообразили сразу, потом одумались и замотали головами в разные стороны: нет, мол, наши головы в порядке и никто их никогда не прищемлял...

Шофёр уехал по своим делам, а милиционер погрозил Кате пальцем на прощанье.

Только старушки ещё долго обсуждали поведение соседей.

А Катя рада. Сосед виноват. Не она.

3. Как она пришла домой

Туфли — р-раз! — на шкаф! Панамку на кровать! Мама уберёт.

Кривляется у зеркала. Поёт. Ведь ей актрисой быть.

— Ах, доченька пришла! Где ты?

— Я здесь! Обедать мне пора!

Мама обнимает дочку и весело ей в ушко напевает в какой раз:

Все здоровы: я, мы, ты,

Если руки вымыты!

Эти строчки с плаката. Плакат на стене. Но он совершенно не действует на Катю.

— А я в море купалась, — отвечает Катя.

Ну, в море так в море. Хотя она врёт. Да и море при чём? Но мама ей не стала противоречить. Вы ведь уже знаете Катин характер.

Нет, ещё не знаете!

Узнаете.

4. Как она обедала

Мать ставит ей обед на стол. И никак не может на свою дочку налюбоваться.

Пришёл отец с работы и тоже не может на свою дочку налюбоваться.

А Катя морщится.

Мать говорит:

— Я сегодня на работе задержалась и наспех приготовила обед.

— А почему бы нашей дочке, — говорит отец, — хотя бы изредка, самой не приготовить?

Катя смотрит на родителей вытаращенными глазами и сразу перестаёт есть. А мама смотрит на отца умоляющими глазами, чтобы он молча ел.

Но отец тоже перестаёт есть и говорит:

— Между прочим, многие дочери моих сослуживцев постоянно готовят обеды для своих семей.

— А я вот не умею, — говорит Катя.

— Но можно научиться, — говорит отец, — раз дочери моих сослуживцев...

— А между прочим, дочери твоих сослуживцев, — говорит Катя, — не умеют скакать на лошадях.

— Я этого не знаю, — говорит отец.

— И между прочим, мои родители тоже не умеют скакать на лошадях.

— При чём тут лошади?

— Скакать на лошади и быть вагоновожатым...

— При чём тут вагоновожатый?!

— И пионервожатым.

Теперь уже с удивлением родители смотрят на свою дочку.

— И быть чемпионом Олимпийских игр, и водить реактивные самолёты...

— При чём?! — вдруг закричал отец. — При чём всё это? Реактивный самолёт!!! О!!!

— А при том, — говорит Катя, — что не может один человек одновременно скакать на лошади, летать на самолёте, быть пионервожатым, вагоновожатым и чемпионом Олимпийских игр...

— Но ты-то тут при чём?

— Я? Фу... Фи... Фу...

— Она у нас прекрасно плавает, — вступилась мать.

— Пока она болтает у нас прекрасно, — сказал отец, — с ней просто страшно разговаривать: пионервожатые, вагоновожатые...

Суп в тарелке остыл.

А этого и добивалась Катя, чтобы с ней невозможно было разговаривать.

Фантазии у неё хватает только на то, чтобы мама готовила обеды, а она их ела.

5. Как она вела себя дальше

Подружка ей с улицы кричит:

— Ка-а-а-а!!!

Катя ей с дивана отвечает:

— Че-его-о-о?!!

— Иди-и-и-и сюда-а-а-а!!!

— Заче-е-ем?

— Пойдём куда-а-а-а-нибу-у-удь!!!
— Куда-а-а-а?
— Не знаю-у-у-у!!!
— Слуша-а-ай!!!
— Слушаю-у-у-у!!!
— Не могу я вас больше слушать, — говорит отец, — я не могу заснуть!
Пошла бы ты спросила, что у неё там такое произошло?
— А я босиком, — говорит Катя.
— На балкон хоть сходи.
— А я без платья.
— Так надень.
— А мне лень. Неохота вставать.
— А у меня голова разрывается на части, — говорит отец. — Что же, она так и будет кричать до утра?
— Покричит и перестанет, — говорит Катя. — Да она уже ушла.
Но вдруг снова:
— Ка-атя-а-а-а!!!
Эх, Катя, Катя...

б. Как она решала задачу

Кате нужно решить задачу, а она болтает по телефону.
— Алло, Маша?
— А я тебе сейчас звонить хотела, — говорит Маша.
— А я тебе сейчас решила позвонить, — говорит Катя.
— А ты мне раньше не звонила?
— А раньше меня дома не было.
— Вот это интересно. И меня тоже дома не было.
— Вот здорово-то получается.
— Потрясающе получается. А у меня всегда потрясающе получается. Поэтому всех вокруг я потрясаю. А вчера я иду, а навстречу мне Петька идёт. И на меня не смотрит. А я делаю вид, что на него тоже не смотрю.
— Вот потеха!
— А он взял и за угол завернул, представляешь, потеха!
— А потом?
— Я иду, а он навстречу мне из-за угла выходит.
— Действительно умора! Ой, ты меня совсем уморила! А он куда шёл?
— Первый раз или второй?
— Ну, первый.
— За угол.

— А второй?
— Из-за угла.
— И всё?
— А чего же ещё?
— Куда же это он всё время ходит, то сюда, то туда, вот интересно.
— Теперь мне всё ясно. Наверное, он куда-нибудь ходит и там курит. Нам надо выяснить и учительнице сказать. Мы его поймаем, учительнице скажем, и он курить перестанет.
— Ой, Катя, завтра же начнём за ним ходить. Ой, здорово ты сообразила! А кстати, какой у тебя ответ в задаче получился?
Катя только и ждала этого вопроса. А самой спрашивать ей не хотелось: пусть Маша думает, что задача у неё решена и этот вопрос Катю не интересует. И она с удовольствием называет Маше первое попавшееся число, которое ей приходит в голову. Она ведь не решала.
— А у меня другой ответ, — удивляется Маша.
— Какой?
И Маша называет ей правильный ответ, а Кате только остаётся теперь подогнать под ответ задачу.

7. Как она отвечала урок учительнице

Учительница спрашивает у неё урок, а она его не знает.
И вот она заявляет своей учительнице:
— Я знаю, но не хочу говорить.
— Как же так? — удивляется учительница.
— Не имею права, — отвечает Катя, — я дала себе слово сегодня не отвечать.
— Как это понимать? — удивляется учительница.
— А чтобы себя проверить, смогу я выдержать или нет.
— Что выдержать?!
— Слово.
— Да какое ещё слово?!
— Своё.
Учительница в полном недоумении. И весь класс тоже.
— Скажи уж сразу, что ты урока не знаешь! — говорит учительница.
— Знаю, — говорит Катя.
— Ну, отвечай тогда, — возмущается учительница, — что это ещё за новости?!
А Катя отвечает:
— Человек, который дал себе слово, должен твёрдо и непоколебимо его выполнять, вы нам сами говорили.

— О чём ты? Что за чушь?

Что Кате отвечать? Молчит.

— Тогда я тебе ставлю двойку, — говорит учительница.

И она ставит двойку. Твёрдую и непоколебимую.

8. Как она рассказывала про двойку родителям

— Я сегодня здорово выдержала свой характер, — сказала она родителям.

— Молодчина, — сказали родители и погладили её по голове.

— Я сегодня сдержала своё слово, — похвастала Катя.

— Молодчина, — сказали родители и опять погладили её по голове. И даже обещали купить ей подарок, если она всегда будет сдерживать своё слово.

— Учительница у меня урок спросила, — похвастала Катя, — а я ей отвечать не стала.

Родители насторожились.

— Наверно, ты урока не знала? — спросил отец.

— Наверно, ты урок забыла? — спросила мама.

— Вы знаете, какой у меня характер? — предупредила Катя.

Они знали. Давно.

— Устрою вам сейчас истерику, будете знать!

Родители замахали руками, больше всего они боялись этой истерики.

— Так вот, значит, поставили мне двойку ни за что, — сказала Катя.

— Как ни за что?!

— Я дала себе слово молчать и выполнила его с честью!

— Для чего ты это слово давала, можешь объяснить?

— Чтобы выполнить его, — сказала Катя, ещё больше запутывая своих родителей.

— М-да... — сказал отец. Он был бухгалтер крупного учреждения и всю жизнь боялся запутаться в очень крупных цифрах. Но там были большие суммы и счета. И сослуживцы, с которыми он вёл всю жизнь дела, были взрослые люди. А здесь дочь. Третьеклассница. И такое наворачивает, что не разберёшь.

Мать почему-то в третий раз погладила свою единственную дочку по голове.

Она совершенно запуталась во всей этой истории.

Тогда Катя улыбнулась и сказала:

— Между прочим, вас завтра в школу вызывают.

— Зачем?

— За то, что у меня твёрдый и непоколебимый характер. Неужели вы этого не понимаете?

— И нам придётся за него отвечать? — догадался отец.

- Чему тут удивляться, — сказала мать, — если у дочки твой характер.
- Но я никогда никого не запутал на своей работе, и никто меня не запутал,
- сказал отец, — и когда учился в школе, не запутывал своих учителей.
- Оставь ребёнка в покое, — сказала мать.
- М-да... — повторил отец.

Катя сидела на диване и болтала ногами.

И они оставили её в покое.

9. Как она запутала саму себя

Ребята сидели на лавочке во дворе, и один мальчишка спрашивает Катю:

— Будет сегодня дождь или не будет?

Ну, а Катя видит — небо чистое, засмеялась от такого вопроса и говорит:

— Не будет, всем видно.

А этот мальчишка прогноз погоды слышал по радио и друзьям моргает — видимо, они договорились. Решили Катю проучить: ребятам она тоже досаждала своими выкрутасами.

И вот этот мальчишка нарочно спрашивает Катю:

— Где видно, что дождя не будет?

Катя ухмыляется:

— На небе.

Мальчишка говорит:

— А я ничего такого на небе не заметил. Если дождь будет, мы уйдём, а ты здесь оставайся.

Катя ухмыляется:

— Пожалуйста, я буду здесь сидеть, а вы сейчас же отсюда уходите, дураки.

Ребята говорят:

— Хорошо, мы, дураки, уйдём, а ты у нас умная, сиди, если дождь пойдёт.

— Да он никогда не пойдёт!

— А если через час он не пойдёт, мы здесь целый день будем сидеть и целую ночь. — А я буду на вас из окна смотреть и водой вас из ведра поливать!

Катя ухмыляется, ребята смеются, спор, в общем, затянулся. Но договорились: в течение часа ждать дождя на скамейке, никому не уходить. Конечно, риск у ребят был: вдруг дождь стороной пройдёт? И в редком случае, но прогноз погоды может подвести. Бывает. Мало ли.

Но вот вдруг подул ветер. Налетела туча. И дождь как пошёл хлестать!

Ребята — по домам!

А Кате надо оставаться.

И вот тогда она со своим твёрдым и непоколебимым характером припустила

за ребятами во весь дух!

Весь её твёрдый характер моментально в дожде растворился...

— А где же твоё слово? — кричат ей ребята.

— А я грома боюсь, — заявляет Катя таким тоном, как будто она ничего на свете не боится...

Эх, Катя, Катя...

Эх ты!

Сотый рассказ

Писать даже маленькие рассказы — довольно трудное занятие. Хотя бы потому, что всё время нужно придумывать что-то совершенно новое, не повторять себя и то, что уже сделано другими. В основном, в этом и заключается трудность. Ведь во многих других специальностях изобретать всё время что-то новое совсем не обязательно. Один мальчик прислал в журнал чужое стихотворение. Он его просто переписал, положил в конверт и отправил в редакцию, подписавшись своим именем.

Но ведь в редакциях, в издательстве сидят грамотные, толковые люди, которые всё знают, читают, обмануть их почти невозможно.

Да и смысла нет печатать чужое стихотворение. Опять же на смех! Нельзя! Я приведу один пример, который показывает, как трудно бывает написать очередной маленький рассказик, особенно когда у меня их уже написано девяносто девять. И я изо всех сил старался написать ещё один рассказ, чтобы стало сто. Такое приятное круглое число!

Я так и хотел назвать книжку: «Сто рассказов». Название это я придумал довольно скоро, но сотый рассказ у меня не получался. Выходила какая-то чепуха — наверно, я очень спешил, торопился, не знаю даже, в чём дело. Издательство торопило.

Но девяносто девять выдать за сто тоже нельзя. Неточно. Любой школьник пересчитает — выходит, обманули. Напряжённо думаю, но от чрезмерной напряжённости всплывает пустота.

Со всех сторон советуют: «Да напиши ты смешное что-нибудь, о чём-нибудь, на какую-нибудь тему о ребятах». Сам знаю. О ребятах. Но о чём? Про что? Некоторые подсказывают, но про это я уже написал. Некоторые, завидев меня, убегают, чтобы я к ним не приставал. О том, что со мной случилось в детстве, — написал. О своих друзьях детства тоже написал, а больше вспомнить не могу, что со мной и моими друзьями в детстве происходило. Может, больше ничего не происходило, раз ничего не вспоминается. Я надоел всем своим знакомым, и взрослым и детям, но они ничего не могли

припомнить в этот момент. Один мой сосед перестал со мной здороваться. Особенно я приставал к сыну, когда он приходил из школы. «Ну, как, — встречал я его с превеликой надеждой, — принёс чего-нибудь новенькое?» Но он рассказывал мне совсем не то, что было нужно, и наконец, отчаявшись, он стал задерживаться после уроков, в надежде, что я куда-нибудь уйду, а потом забуду его расспрашивать. Он даже стал ложиться раньше, до чего дошло.

Я обратился к ребятам по радио, я просил их присылать для меня какие-нибудь забавные, интересные случаи, и кто знает, может быть, благодаря их помощи я выйду из создавшегося положения. И тогда все мои родные, соседи, знакомые вздохнут спокойно. Нельзя сказать, что мне не помогли. Слали письма. Один читатель написал: «Дорогой автор! Вас интересуют интересные случаи. Вот случай очень забавный: я шёл в школу, споткнулся и упал. И мне самому и моим товарищам было смешно ужасно! До самой школы хохотали до упаду».

Не пойму, почему они там так смеялись? По-моему, ничего смешного в этом нет. Человек всего-навсего споткнулся, с кем не бывает! Какой уж тут рассказ. Скорее всего этот мальчик юмора не понимает. Скорчи ему рожу, палец покажи, так он от смеху, наверное, задохнуться может. Пустой это смех. Мысли нет.

Позвонили вдруг из детского журнала:

— Напишите нам рассказ.

— О чём?

— Про ребят, естественно.

— Ну это понятно, о чём всё-таки?

— Вот те на! Писатель не знает, о чём писать!

— Дайте мне какую-нибудь тему, — говорю, какой-нибудь случай, что ли, расскажите.

— Хорошо. Дадим. Некоторые ребята скверно ведут себя на улице. Они толкаются, кричат во всё горло и дерутся. Напишите, чтобы им было стыдно.

Пообещал. Тема есть. Будет сотый рассказ. Хотя бы о том, как ребята толкаются на улице, задевают прохожих. Тема нужная.

Они в шутку толкают друг друга, не замечая никого вокруг. И таким образом произвольно толкают других. Такого рассказа у меня ещё не было: про толканье. Сел писать: «Петя с Васей выскочили на улицу и стали толкать друг друга...» А дальше что? Ну? Что дальше? Я не знал. И придумать не мог.

Потолкался я возле этих строк, подошёл к окну. А во дворе два малыша с удовольствием толкают друг друга. Оба со смехом падают в песок.

Поднимаются и снова толкаются. Но рассказа у меня всё равно не

получается. Им весело. А мне-то каково? Их толчки ровным счётом не наталкивают меня ни на что. Отхожу от окна. Только мысли впустую толкаются и прыгают в моей голове. Рассказа не выходит. Ну никак! Через год написал. Поздновато. Рассказ есть, но книга уже вышла под другим названием. И всё-таки лучше поздно, чем никогда. Его вы найдёте в этой новой книжке вместе с другими смешными и совсем не смешными, разными рассказами. И хотя эта книжка маленькая, не нужно читать рассказы все сразу, а постепенно, не спеша.

Очень редкая рама

— Вот бухта, вот корабли...

— А это?

— А это, вдали, «девичья башня», товарищи, с неё, с этой невероятной высоты, когда-то... дай бог памяти... прыгнула в море заточённая красавица... тогда воды моря омывали эту башню, так сказать, со всех сторон... Обращаю ваше внимание на многочисленные плоские крыши домов... этот фактор, как вы сами понимаете, говорит о том, что осадков в нашем городе выпадает незначительное количество...

— А это?

— ...эти красные цветы, товарищи, так называемые олеандры... Обратите внимание... вы видите громадную фигуру Кирова... Киров как бы стоит над бухтой... он приветствует этот чудесный город с этой горы... А сейчас мы снимемся на фоне нашего великолепного города, который расположен на берегу Каспийского моря, как вы сами видите, товарищи...

— На фоне кораблика!

— На фоне кораблика, товарищи, сняться нельзя, потому что он, как вы сами понимаете, не будет виден на фотографии.

— Ой, почему же?

— А потому, товарищи, что он на весьма далёком расстоянии находится от нас, что вы сами, естественно, видите.

— А может, получится?

— Нет, товарищи, я уже вам сказал, он не получится. Кто любит экзотику, садитесь на камни, а кто не любит, вот встаньте сюда, вот так... весь Баку будет как на ладони, что, вы сами понимаете, очень ценно... Фотографирую, товарищи, фотографирую, раз! Всё, товарищи. Разойдитесь и в положенное время снова соберётесь для дальнейшего движения...

Все расходятся. Я подхожу к отцу. Он вытирает платком лицо. Жара в нашем

городе сильная.

— Тебе чего? — спрашивает отец.

— Очень редкая рама, — говорю я.

— Опять рама?

— Очень редкая, — говорю я.

— Отстань, — говорит отец. — Все собрались? (Это он говорит не мне.)

Продолжим шествие, товарищи...

Все идут за отцом.

— ...я хочу обратить ваше внимание на то, что ветры в нашем городе дуют двести сорок дней в году... Но бухта, товарищи, расположена таким образом...

Я плетусь сзади. Вся пыль летит на меня.

Если он мне не купит эту раму, я просто не знаю, что мне делать, где мне деньги доставать тогда... Картины без рам — не картины. Вот я был в музее. Там все картины в рамах. Висят, как настоящие. Напишу я потом картины масляными красками. А рам у меня не будет...

— ...отсюда, товарищи, с этой высоты, вы видите бульвар... которого раньше, как вы сами понимаете, не было... Было море... По этому факту вы можете себе представить, насколько обмелело море, которое даёт испарений... чтобы не соврать...

— Неужели так обмелело?

— Вот именно, товарищи... вы правильно заметили... оно обмелело именно до такой степени... И жара и время... которое, так же как и жара... постепенно...

Все с удивлением смотрят на море. Качают головами и вздыхают. Я думаю о раме. Эта рама сейчас у меня перед глазами. Такую раму просто представить себе трудно! Потом такой рамы ни за что не найдёшь, уж в этом-то я уверен!

— ...изменения, всюду большие изменения...

Пыли-то сколько!

— ...если вы не устали, мы можем пройтись...

Неужели не устали? Я и то устал.

— ...отдохните и соберитесь для дальнейшего движения...

Все расходятся, курят. Без конца говорят о том, до чего всё-таки удивительно обмелело море.

Отец остался один. Я подхожу к нему.

— Ты всё ещё здесь?

— Такая рама! — говорю я.

— Это бессмысленно — покупать какие-то рамы! — говорит он.

— Если бы ты видел эту раму! — говорю я.

— И видеть не хочу, — говорит он.
— Мне нужна рама!
— Для чего?
— Ты увидишь её! Увидишь! Я не знаю, что с тобой будет, если ты эту раму увидишь! Ты такую раму ещё никогда не видел!
— У тебя нет картин, — говорит отец. — Ни одной нет картины. Господи! Зачем тебе рама?
— Картины будут, — говорю я, — были бы рамы!
Он смотрит на меня так, будто я вру.
— Стал бы я покупать эти рамы, если у меня картин не будет!
— Чтоб это было в последний раз!
Он даёт мне деньги.
— Ты увидишь её! — кричу я.
— Ах, — говорит отец, — пошёл ты от меня со своими рамами!

Алька

Я волосы отрастил, и они у меня назад зачёсывались. Меня стали дёргать за волосы. Попом Толоконным Лбом звать, Мочалкой.
Я наголо постригся. Ещё хуже стало. «Лысый! — кричат. — Кочан капусты!»
По голове часто гладят.
Сажу я со своей лысой головой на задней парте. Приходит к нам в класс новенький. Такой чёрненький, и глаза чёрные. Его со мной посадить хотели. Как раз я один сидел. А он не хочет.
— Это почему же, — спрашивает Мария Николаевна, — ты с ним сидеть не хочешь?
А он твёрдо так отвечает:
— Я с ним сидеть не буду.
— Это почему же? — спрашивает Мария Николаевна.
— Потому что он лысый.
Хотел я вскочить, дать ему за это.
Мария Николаевна говорит:
— Что за чушь! Он, во-первых, не лысый, а постриженный, а во-вторых, если бы даже он и был лысый...
Он твердит:
— Я с ним сидеть не буду.
— Почему же ты всё-таки с ним сидеть не хочешь? — спрашивает Мария Николаевна.
— А потому, — отвечает, — что я уже с лысым сидел, так меня с ним заодно

дразнили, хотя я и не был лысый.

— Какая дикость! — удивилась Мария Николаевна.

В конце концов он всё же сел. Со мной не разговаривает. В мою сторону не смотрит. Я тоже на него не смотрю, но вижу, что он листок вынул и что-то рисует.

Вижу я — рисует он конницу, скачущую в атаку. До чего здорово у него получалось — ну как у настоящего художника! Как будто он сто лет учился. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так коней рисовал.

Я сразу подумал, что мне так никогда не нарисовать, сколько бы я ни старался, но в то же время, если я как следует постараюсь, я не хуже нарисую.

Я хотел показать ему, как надо рисовать. А потом сделал вид, что не вижу. Он ведь не знает, что я лучше всех в классе рисую. Скажет, я подражаю. Скажет, я обезьяна какая-нибудь или там попугай.

Ничего. Потом он узнает, кто с ним рядом сидит! Потом он узнает, какие я стенгазеты рисовал! Какого я Шота Руставели нарисовал. Какого я лётчика Покрышкина нарисовал, трижды Героя Советского Союза!

Пусть, пусть рисует!

А потом думаю: он, наверное, всю сейчас воображает. Сидит и воображает, будто никого на свете лучше нету. Выходит, он будет здесь воображать, а я? Просто так буду сидеть?

Я вырвал листок из тетради. И стал рисовать танки, идущие в атаку.

Он сначала не заметил, что я тоже рисую, или он не хотел замечать, а потом заметил и рисовать перестал.

На мой рисунок глядит.

Я это сразу почувствовал. И всю рисую, на него никакого внимания не обращаю. Только локтем свой рисунок закрываю, чтобы он не видел.

Вдруг он говорит:

— А ну, покажи.

— Чего, чего? — говорю.

— Покажи, — говорит, — что ты там такое начирикал.

— Чего, чего? — говорю.

— Ас, ас! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Осторожно! — говорит. — Ас, ас!

— Что это, — говорю, — ещё за ас, ас?

— Ра-ра! — говорит. — Ра-ра! Работай.

Вот нашёлся какой! Какие-то слова мне бормочет. Удивить, наверное, меня этими словами хочет. Что бы, думаю, ему такое ответить, чтобы он так со

мною разговаривать перестал? В это время он мне говорит:

— Вот если тебя спросит кто-нибудь: «Ты не кр?» — ты что ответишь?

— Чего, чего? — говорю.

— Нужно ответить: «Я не кр!» Понятно?

Тут я разозлился и говорю ему:

— Крыса ты!

Я сам не знаю, почему его крысой обозвал. Просто ничего другого мне в голову не пришло.

Он поднимает руку и говорит Марии Николаевне:

— Он меня крысой обозвал!

Мария Николаевна говорит:

— Как тебе не стыдно, Стариков! К нам пришёл новенький, он, наверное, стесняется, а ты его крысой обозвал...

— Кто? — говорю. — Он стесняется?!

До чего меня зло взяло, вы не представляете!

— Если ты мне сейчас не ответишь, с какой скоростью летят навстречу друг другу самолёты, ты покинешь класс...

Я встаю.

— Какие самолёты? — спрашиваю.

Я, наверное, здорово моргал глазами, потому что Мария Николаевна вдруг сказала:

— Брось моргать! Ну-ка брось моргать! Дурачка представлять!

Моргал-то я просто случайно. Но я ничего не ответил. И всё молчал. А про эти самолёты я вообще ничего не слышал.

— Ну? — говорит Мария Николаевна.

— Повторите, пожалуйста, про эти самолёты, — говорю.

— Выйди, будь добр, из класса, — говорит Мария Николаевна.

— Если бы вы повторили ещё раз... — говорю.

— Я не могу слушать твои речи, — говорит Мария Николаевна.

Я собираю книги. Ничего такого я не сделал. Если бы я, там, мякнул, как в прошлый раз. А сейчас? Его ко мне посадили, а я виноват!

Я сижу на последней парте. Иду медленно к двери. Через весь класс.

— Страна залечивает раны после войны, — говорит вслед мне Мария Николаевна, — миллионы заняты созидательным трудом, миллионы трудятся, а один...

Я уже возле двери.

— Подожди, — говорит Мария Николаевна.

Я останавливаюсь.

— Подойди-ка сюда.

Я подхожу.

Она почему-то волнуется. Вот уже совсем непонятно. Ей-то чего волноваться? Меня из класса выгоняют, а она волнуется.

Я стараюсь больше не моргать.

— Тебе не стыдно? — говорит Мария Николаевна.

Она держит в руках ручку, наверное, мне двойку хочет поставить. А руки у неё сильно дрожат. Это, наверное, потому, что она очень старенькая.

Говорят, у старых людей всегда руки дрожат от старости...

— Я к тебе хорошо отношусь, — говорит она, — и ты, Стариков, способный человек. А ведь ты мне на голову садишься... И потом, пожалуйста, не воображай. Ты можешь пропасть... как камень, брошенный в море. И не улыбайся. Пропадёшь или будешь босяком вместе со своими художествами. Если не будешь учиться... Люди, честно не относящиеся к своему труду, обычно плохо кончают...

Она не собирается мне ставить двойку.

— Стенгазету нарисуешь? — спрашивает меня Мария Николаевна.

— Нарисую, — говорю.

— Чтобы была на славу, — говорит она.

— Ладно, — говорю я.

— Разве ты для меня стенгазеты рисуешь? — говорит она.

Я иду на место. Сажусь рядом с новеньким.

— Ра-ра! — говорит он тихо. — Ра-ра! — Прямо в самое ухо мне говорит, представляете?

Я встаю.

— Я с ним сидеть не буду, — говорю я.

Мария Николаевна смотрит на меня и хмурится.

— Я с ним сидеть не хочу, — говорю.

— Выходите оба! — говорит Мария Николаевна. — Я не желаю слушать ваши речи!

Мы оба выходим.

Я с одной стороны. Он с другой. Я первый вышел в коридор, а он за мной.

Вдруг он говорит:

— Слушай, тут, наверное, разные завучи ходят... Пойдём в уборную.

— Я в уборную не хочу, — говорю.

— Самое безопасное место, — говорит. — Сиди себе в полной безопасности.

Я сначала совсем не хотел в уборную идти. А потом пошёл. И вправду, думаю, там, наверно, безопаснее.

Каждый в свою кабину сел. Сидим себе в полной безопасности. Здорово это он придумал!

Сидели, сидели, он мне постучал.

— Сидишь? — спрашивает.

— Сижу, — говорю.

— Как тебя звать? — спрашивает.

— Витька, — говорю.

— А я Алька, — говорит.

— Очень приятно, — говорю.

— Очень приятно, — говорит.

У нас с ним много общего оказалось. Масляными красками он, оказывается, так же как и я, никогда не писал. И рисовать его тоже никто не учил. Он сам всему научился. Он с самого детства на асфальте рисовал. Пойдёт с бабушкой в садик и рисует мелом на асфальте. Я стал вспоминать и вспомнил, что я раньше тоже рисовал на асфальте.

— Ты много на асфальте рисовал? — спросил он.

— Много, — сказал я.

— Хорошая школа, — сказал он.

— Какая школа? — не понял я.

— Художественная, — сказал он.

— Ага, — сказал я. Хотя всё равно не понял.

— На асфальте. На бумаге. На холсте, — сказал он.

— Ну да, — сказал я.

— Все истинные художники начинали рисовать на асфальте, — сказал он. —

Так мне один художник сказал.

— Конечно, — сказал я. Хотя никак не мог понять, почему они все начинали рисовать на асфальте.

Он опять постучал мне.

— Ты чего молчишь? — говорит.

Достаточно ли я рисовал на асфальте? Стану ли я истинным художником? Вот о чём думал я.

— Ты что, заснул? — спросил он.

— А ты много рисовал на асфальте? — спросил я.

— Как помню себя, — сказал он.

— Я когда-нибудь нарисую громадную картину, — сказал я, — до потолка... у меня была рама... громадная рама... мама её в печке сожгла. Жалко мне эту раму...

— Если быть художником, — сказал он, — только великим. Мне один художник сказал, что не великим художником быть не стоит.

— Бей пять, — сказал я.

— Потом, — сказал он.

— Конечно, — сказал я.
— Звонка что-то нет, — сказал он. — Долго мы здесь сидим. Мне по чувству кажется — звонок должен быть.
— Наверное, ещё рано... — сказал я.
— Пойди-ка ты на разведку, — сказал он.
— На какую разведку? — спросил я.
— Был звонок или нет, — сказал он.
— А ты? — спросил я.
— А я посижу.
— Хитрый ты.
— А ты трус.
— Я не трус, — сказал я.
Я вышел из кабинки. Просунул голову в коридор и увидел директора. Он поманил меня пальцем.
— Разве ещё звонка не было? — спросил я растерянно.
— Иди, иди сюда, — сказал он.
На другой день мою маму вызвали в школу.

Самая большая рама

Она стояла в коридоре, громадная, до потолка.
Самая тусклая лампочка светила в этом коридоре. Самая прекрасная рама мерцала в полутьме. Покрытая пылью, увешанная тряпками, эта рама не сразу была заметна. На раме стоял горшок. Но я сразу заметил её. Протёр рукавом. Это была очень старая, очень красивая рама.
Отец с матерью сидели в бабушкиной комнате и пили чай, а я всё ходил возле рамы в бабушкином коридоре. Я рассуждал про себя: «Если бы эта рама была нужна, на неё не ставили бы горшок. Не вешали бы тряпки. Она не стояла бы здесь в пыли. Но в то же время она, может быть, нужна. Она, может быть, пока стоит. А потом она будет нужна. Если бы это была не бабушкина рама, можно было бы спросить, не продаётся ли она случайно. Ничего в этом нет такого. Может, люди хотят продать. А я хочу купить. Почему бы им не продать, если у них покупают? Но не будет же моя бабушка продавать мне раму! Она может только мне её подарить. А просить о том, чтобы она мне её подарила, было неудобно». Раньше, когда я был поменьше, я легко мог спросить у неё что угодно. Но сейчас не мог. Сколько слышал я разных слов: «Не волнуй бабушку», «Наша старенькая бабушка может умереть», «Не приставай к бабушке», «Не расстраивай бабушку», «Как тебе не стыдно такое спрашивать у бабушки», «Кто тебе позволил так разговаривать с бабушкой!». Нет, не мог я спросить у бабушки про эту раму.

Я не был уверен в том, что это можно спросить. Что в этом нет ничего такого.

Обо всём этом я рассуждал в бабушкином коридоре.

Потом меня позвали в комнату, и бабушка угощала меня вареньем и всё повторяла, что давно меня не видела и хочет посмотреть на меня как следует, а я думал только о раме. Если мне что-нибудь в голову приходит, то обратно уже оттуда не уходит. Я думал, какую громадную картину можно вставить в эту раму, о том, в каком месте в нашей квартире можно повесить картину в такой раме, о том, сколько времени мне придётся писать такую картину.

— Раньше он был гораздо веселей, — сказала про меня бабушка. — И варенья всё время просил, а сейчас даже варенья не просит.

— Скоро он чего-нибудь покрепче затребует, — сказал отец.

— Чего потребует? — спросила бабушка.

— Ничего, — сказал отец.

— Не болтай ты, — сказала мама.

Бабушка спросила, не поставит ли ещё чаю, а я вдруг спросил, не мешает ли бабушке рама, когда она ходит на кухню ставить чайник.

— Голубчик ты мой, — сказала бабушка, — мешает она мне ужасно. Только родной внучек может о бабушке вспомнить, понять её, как ей эта рама проходу не даёт... Все коленки себе поотбивала, спину оцарапала, бок себе чуть не своротила об эту проклятую раму...

Никогда не любил я так бабушку! Ей не нужна была рама.

— О чём это вы? — спросила мама. Больше всего на свете ненавидела моя мама рамы. Будто эти рамы её в могилу загонят. Будто все беспокойства из-за рам. И беспорядок в доме.

Когда мама увидела эту раму, она закричала:

— Так вот к чему он клонит! Вот почему он так заботится о своей бабушке!

Вот она, чистая, бескорыстная, добрая душа! Вот он, удивительный, художественный ребёнок! И ты думаешь, я позволю тебе тащить этот хлам в квартиру? Неужели ты мог хоть на миг об этом подумать?

Если мама начнёт кричать, она не остановится. Она будет кричать до тех пор, пока не устанет.

— Мне нужна рама! — кричал я. — Мне нужна рама!

Мы с мамой так кричали, что бабушке стало плохо.

— Что ты сделал с бабушкой! — возмущалась мама.

Отец стоял и молчал. Смотрел, что дальше будет. А потом как закричит:

— В конце концов, я ему покупаю рамы! А эту раму ему бесплатно дают!

Тогда мама сказала:

— Не хочу быть свидетелем этого безобразия! — Она хлопнула дверью и вышла.

Мы с отцом вынесли раму.

Бабушка крестилась.

— Чтоб позолота не слетела! — орал я. — Осторожно, чтоб позолота не слетела!

Отец сказал, что, если я так буду орать, он сейчас же бросит раму. Тогда я замолчал.

Мы её молча несли по улице. А мама где-то шла впереди. Мне казалось, что мы несём не раму, а что-то такое, что нельзя объяснить.

Интересно, что тогда скажет мама, которая сейчас против этой рамы, когда она увидит в ней мою картину, а вокруг этой картины толпа и все спрашивают: «Скажите, вы не знаете, кто написал эту картину? А смотрите, как прекрасно подобрана рама!»

Интересно, что она тогда скажет? Она тогда, наверное, скажет: «Я ничего подобного не говорила, я всегда была за то, чтобы взять у бабушки эту раму».

Рама простояла у нас весну, лето и осень.

Часто мечтал я о той картине. Которая будет в этой раме. Это должна быть замечательная картина. Может быть, это будет морская картина. Море и луна. Или море без луны. Или даже не море. А какая-нибудь пальма. Или даже не пальма. А какая-нибудь военная картина. А может быть, и не военная. Может быть, какая-нибудь другая замечательная картина.

Однажды зимой, поздно вечером, мы с отцом пришли из бани и радовались, что в комнате так тепло. Мы пили чай и хвалили маму. Ведь она затопила печку! А мама улыбалась. И мы тоже пили чай и улыбались.

Вдруг мама спросила:

— А знаете ли вы, что я сожгла?

Я сразу что-то почувствовал и стал смотреть по сторонам и не мог догадаться, но почему-то вдруг испугался и не хотел, чтобы она говорила дальше.

Но мама сказала:

— Я сожгла вашу дурацкую раму.

Я поперхнулся чаем, а потом заплакал.

— Лучше бы ты не трогала эту раму... — сказал отец.

Кафаров

— Давай, Кафар!!!

— Бей, Кафар!!!

— Сюда, Кафар!!!

— Туда, Кафар!!!

— Так, Кафар!!!

— Есть, Кафар!!!

— Го-о-о-ол!!!

— Ка-фа-а-ар!!!

Я весь в пыли. В разорванной рубаше. Я вратарь.

Кафаров уже совсем близко. Он мчится с мячом на меня.

Удар! Я лечу в пыль. Поздно. Гол!

Если в вашей команде Кафаров, вы никогда не проиграете. Если он против вас, вы обязательно проиграете.

Никто во всей школе, на всей нашей улице не играет лучше Кафарова.

Игра продолжается.

— Лови! — смеётся Кафаров.

Я прыгаю мимо мяча.

— Чучело! — орут мне.

А я-то при чём? Посмотрите, как наши играют! Всё время мяч у Кафарова.

Опять мчится на меня.

— Хватай! — кричит он.

Гол!!!

— Эй, ворона! — кричат мне.

Игра продолжается.

Гол! Ещё гол! Ещё!

Вся наша команда бежит за Кафаровым. Всё время мяч у него. Кафаров опять прорвался. За ним мчится наша команда. Ну и команда!

Я выхожу из ворот.

Мяч влетает в пустые ворота.

— Привет! — ору я. — С меня хватит!

— Что такое? — кричит капитан. — Встань на место!

— Сам встань и стой! — кричу я.

— Не имеешь права! — орёт кто-то.

— Тебе доверили! — орёт наш капитан.

— Вам тоже доверили! — кричу я. — Играть не умеете!

— Не твоё дело! — кричат мне.

— Вот ещё! А чьё же тогда это дело? Мне голы забивают — и не моё дело?

— Брать надо! — кричат мне.

— Играть надо! — кричу я.

Свистят и кричат. Скандал на поле.

— Двенадцать — ноль! — орёт кто-то. — Двенадцать — ноль!!!

— Это тебе не рисуночки рисовать, — говорит мне Кафаров.
— Подумаешь! — говорю я.
— Рисуночки разные там, шаляй-валяй, дурачка валять, а здесь дело серьёзное!
— Думай, что говоришь! — кричу я.
— Здесь работа! — орёт Кафаров. — Бить надо! Брать надо! А твоя работа — это не работа! — Он суёт мне в нос мяч. — На, забей! Ну? Я встану! А ты забей!
— Давай! — Я хватаю мяч.
Кафаров идёт в ворота.
Я считаю шаги. Кладу мяч. Кафаров приготовился.
Удар!
Мяч летит в кусты.
Больше всех смеётся Кафаров.

Пётр Петрович

Пётр Петрович ходит по классу.
Он очень худой и высокий. В солдатской гимнастёрке, в сапогах. Гвардейский значок на груди. Два ордена Красной Звезды.
Пётр Петрович проверяет, все ли принесли краски.
Краски принесли не все.
— Я никогда не понимал таких людей, — говорил он, — которые не любят краски... Тинторетто! Тициан! Делакруа! Они все любили краски. Запомните их имена! А Суриков! Посмотрите «Боярыню Морозову!» Посмотрите эту картину — и вы будете приносить в класс краски...
Пётр Петрович вынимает из портфеля глиняный горшок и сиреневую тряпку. Кладёт эти предметы на стол. Один конец тряпки он засовывает в горлышко кувшина, а другой свисает на стол.
— Все набрали в баночки воду? — спрашивает он.
Воду в баночки почти никто не набрал. Полкласса идёт за водой.
— Неужели нельзя было подготовиться? — Пётр Петрович садится за стол и так сидит, обхватив голову руками.
Один за другим входят с баночками, стаканами, чашечками ученики. В классе шум, разговоры.
Пётр Петрович всё-так же сидит, обхватив голову руками.
— Значит, все подготовились? — Он встаёт, ходит по классу. Кладёт на парты листки рисовальной бумаги.
Урок рисования начался.

Со всех сторон кричат:

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович!!!

Он смотрит у всех.

— Начало хорошее, — говорит он. — Начало хорошее...

Класс стихает. Почти все довольны. Начало почти у всех хорошее.

Пётр Петрович сидит за столом, подперев рукой щеку, и рассказывает:

— Когда я был ещё студентом, на одной выставке висела моя большая картина... Так вот ты, Кафаров, спрашиваешь, почему я не знаменитый художник? Гм... как бы тебе сказать... Я, конечно, не знаменитый художник, ты правильно это заметил... совершенно справедливо это подчеркнул... Я... мне война помешала... большая семья... ну, как бы это сказать, дорогой мой...

Та картина, о которой я только что говорил, была достойна висеть в ряду уважаемых художников... Я к тому это всё говорю, что... по существу, ты, Кафаров, задал мне довольно сложный вопрос, на который я тебе ответить, пожалуй, и не смогу... учитывая всю сложность жизни человека...

В классе тихо. Хотя часто бывает шумно. Почти никто не рисует. Все слушают. Тася Лебедева раскрыла рот и глядит на Петра Петровича. Залетит ей муха в рот, не будет так рот открывать...

— А где сейчас картина? — спрашивает Кафаров.

— Сейчас я даже не знаю... Дальнейшая судьба этой картины мне неизвестна. Её ведь у меня купили... Висела она в большом зале...

— Я видел! — кричит Кафаров.

— Ты не мог её видеть, потому что это было в Ленинграде. Я как сейчас помню: висит в большом зале... прекрасно освещённая... толпы народа... разговоры... даже споры... Я как раз тогда на пятом курсе в Академии художеств учился... несколько злоупотреблял красочной стороной в ущерб рисунку... И зачем я это всё вам рассказываю, и сам не знаю... Так вот... вспомнил, как говорится...

— А ещё вы рисовали? — спрашивает Кафаров.

— Картины не рисуют, а пишут красками. Рисуют карандашами, углём, пастелью. Я вам это уже говорил.

— Всего одну картину написали? — спрашивает Кафаров.

— Когда ты подрастёшь, ты не будешь так думать, как сейчас... Я прекрасно понимаю, о чём ты хочешь сказать... Я вовсе не для того вам это рассказываю... Кстати, я сейчас урывками пишу картину, которая у меня нехудо получается... Да будет вам известно, что Александр Иванов двадцать пять лет писал одну картину...

Кафаров больше ничего не спрашивает.

Никто больше ничего не спрашивает.

Зазвенели кисточки о баночки, стаканы, чашечки. Все снова рисуют. Даже Кафаров, который ненавидит рисовать, даже он язык высунул — до того старается. Все рисуют горшок и тряпку. Все словно хотят стать великими.

Никогда я не думал, что этот горшок и тряпку так трудно рисовать! Во-первых, один бок у горшка получается кривой. Во-вторых, он не получается круглый. А в-третьих, всё не так получается.

Я спешу исправить рисунок. Пока Пётр Петрович не видит. Хотя бы этот кривой бок подправить, пока он не увидел. «Вот тебе, — скажет, — и лучший рисовальщик! Вот тебе и способный!» Один раз я сломал себе руку, так Пётр Петрович сказал: «Как же так, у тебя золотые руки, а ты их ломаешь!» Я тогда очень гордился этим, что вот, мол, золотая рука, а я, несмотря на это, взял и сломал её!

Я спешу, а выходит ещё хуже. Теперь и второй бок кривой.

Смотрю Алькин рисунок. Тоже неважно получается. Кривой горшок получается.

Проклятый горшок! Трудно всё-таки стать великим, если этот горшок даже нарисовать не можем...

Звенит звонок.

— Одну минуточку! — Пётр Петрович поднял кверху руку. — Совсем забыл. «Пионерская правда», ребята, объявила конкурс на лучший рисунок, и если кто из вас постарается...

Алька говорит:

— Вот здорово-то! Наверное, я заберу премию. Я с самого детства рисую!

Вокруг загалдели:

— А какая будет премия?

— А сколько времени нужно рисовать?

— А чем рисовать?

— А на чём рисовать?

— А что рисовать?

Пётр Петрович опустил руку.

— Рисовать можно всё, — сказал он. — Срисовывать нельзя.

— А я срисую, и никто не узнает, — сказал Кафаров.

— Ты-то сам будешь знать? — спросил Пётр Петрович.

— Буду.

— А ты говоришь, н и к т о не будет знать!

Все засмеялись.

— Микеланджело! — сказал Пётр Петрович. — Франциско Гойя! Запомните

их имена! — Он положил в портфель горшок и тряпку. — До свидания! — сказал он.

Возле учительской

Я бежал по коридору во весь дух. И зачем я бежал, сам не знаю. У меня иногда бывает такое желание — взять и побежать. Побегу, думаю, до той двери, пока та девчонка до неё не дойдёт.

Бегу я, значит, и со всего размаху налетаю на завуча. Я чуть его с ног не сбил. Он зашатался и говорит:

— А если бы это был малыш? Первоклассник? Ты бы, наверное, его убил на месте? Ты что, конь, что ли? Иди сию минуту и жди меня возле учительской. Я пошёл и встал возле учительской.

И тут я слышу голос Петра Петровича. Он кому-то в учительской рассказывает:

— Мечты у меня были в то время самые радужные... Великие идеи так и кружились в моей голове...

Трамвай по улице проехал, и я не слышал, что он дальше говорил. Потом слышу:

— ...окончил художественное училище... в Академию художеств собрался... Я подошёл поближе.

— ...задержался... стал портреты писать сухой кистью... В то время они громадный спрос имели. Любому учреждению тогда требовались...

Радио в коридоре включили на полную мощность:

...Всем председателям совета отрядов собраться в пионерской комнате к пяти часам.

Радио умолкло. Пётр Петрович рассказывал:

— ...знаете, сухой кистью делать очень легко. Разбивается полотно на клеточки одинаковой величины... фотография данного портрета соответственно разбивается на клеточки... рисуется по этим клеточкам контур портрета... с фотографии... Дело идёт очень быстро... легко... результат получается налицо... По этим контурам сухой кистью... так сказать, растираешь... ерундовая работа... никакого таланта не нужно... только немножечко умения... ни уму ни сердцу, как говорится.

Тут опять трамвай проехал.

— ...я всё думал: ведь Брюллов, Суриков, Репин учились в этой академии... мечтал... робел... зарабатывал... портреты сухой кистью всё время писал...

В это время ко мне подходит Кафаров.

— Ты чего, — говорит, — тут стоишь?

— А тебе что? — говорю.

Тогда он к моему уху нагнулся и говорит:

— Ты замечал, какая Тася Лебедева красивая?

Я на него уставился и заморгал. Никогда я об этом не думал.

— Эх ты, — говорит Кафаров. И ушёл.

Пётр Петрович рассказывает:

— ...в дороге у меня чемодан стащили...

В это время звонок зазвенел.

Слышу дальше:

— ...настроение... положение... состояние... Ленинград... Я... Академия искусств... провалился... волновался... женился...

Всё время этот трамвай скрежетал. Скрежещет на повороте. Даже стёкла тряслись. Пётр Петрович стал совсем тихо говорить.

— ...так же, как и я... Суриков... в своё время... сын родился... второй раз провалился... учился... в конце концов недоучился... Война... дожди, болота... ранен... Волга... Днепр... ничего не поделаешь... Варшава... Кёнигсберг... Берлин... шесть, семь, восемь... Баку...

Вы знаете, что мне врач недавно сказал? «Вы, — говорит, — никогда не умрёте». Я, разумеется, посмотрел на него и говорю: «Знаете что, не надо мне сказочек рассказывать: они на меня мало действуют». Тогда он говорит: «Вы меня не поняли». — «Я вас, — говорю, — отлично понял, только это лишнее». — «Нет, — говорит, — вы меня не поняли. Если бы у вас даже один сын был, вы бы уже ни черта не умерли, а раз у вас их целых пятеро, то тут, знаете ли, о смерти говорить прямо-таки смешно...» Вот так он мне и сказал...

Пётр Петрович засмеялся.

— Вы и есть великий человек, Пётр Петрович, — сказал кто-то.

Трамвай заскрежетал.

Подходит ко мне завуч.

— Иди, — говорит, — в класс. И больше так не бегай.

Кубик и квадрат

Увидев нас, Пётр Петрович закричал:

— Кто к нам пришёл!

— Мы просто так пришли, — сказал Алька.

— Ну и замечательно! — сказал он. — Вот и замечательно!

Я слышу шум из комнаты. Там как будто что-то двигали, катали по полу шарик, словно скоблили чем-то по стеклу, и пели.

Мы вошли в комнату.

Один из младших сыновей Петра Петровича сидел на полу. В руках он держал молоток. Он вбивал в пол гвозди. Несколько гвоздей лежало рядом с ним.

— Смотрите! — крикнул я. — Смотрите, что он делает!

— Безобразие! — сказал Пётр Петрович. — Какое безобразие! Не успел я пойти открыть вам дверь... — Он выхватил молоток у сына. — Где ты взял его?

Сын проворно встал с пола. Успел зажать гвозди в кулак.

Пётр Петрович положил молоток на стол.

— Мать ушла, — сказал он, — а они разошлись...

На столе молотка уже не было. Теперь стук раздавался из кухни.

— Одну минуточку, — сказал Пётр Петрович. Он быстро пошёл в кухню.

Из-под дивана выкатились двое других сыновей Петра Петровича.

Из другой комнаты вышел четвёртый сын. Он был постарше этих. Но младше меня. Он молча смотрел на нас. Он хотел что-то спросить. Я это чувствовал.

Но он ничего не спрашивал. И я смотрел на него и тоже ничего не спрашивал.

Вдруг он сказал:

— Я рассказ написал.

Мы с Алькой переглянулись.

— Рассказ? — спросил я.

— Ага, — сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего, — сказал он.

Он опять стал молча смотреть на меня.

— Хочешь прочесть? — вдруг спросил он.

— Давай, — сказал я.

Он протянул мне листок.

— Вслух читай, — сказал он.

Я стал читать вслух. Этот рассказ был написан большими буквами:

РАССКАЗ В ПРОЗЕ А. П. ВОЛОШИНА

НАЗВАНИЕ «ОБИДНО»

МЫ ШЛИ ПО МОКРОМУ ПЕСКУ И ПЕЛИ: «МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЁМ,
ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВОТ УЖЕ МОРЕ ВИДНО, СИНЕЕ, БОЛЬШОЕ, С КОРАБЛИКОМ, И МЫ
ЕЩЁ ГРОМЧЕ ЗАПЕЛИ: «МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЁМ,

ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВДРУГ РАЗДАЛСЯ ГРОМ, И ВНЕЗАПНО ПОЛИЛ С ШУМОМ ДОЖДЬ.

— СТОП! — КРИКНУЛ ВОЖАТЫЙ. — НА МОРЕ МЫ НЕ ПОЙДЁМ!

НАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО.

Я кончил читать.

— Я ещё напишу, — сказал сын Петра Петровича. Он свернул листок вчетверо. Сунул за пазуху. Вздыхнул и сказал: — Если ты хочешь знать, я громадную книгу могу написать. Только мне мешают. Слишком много шума. Скоро мы на новую квартиру переезжаем. Вот там я напишу.

В комнату вошёл Пётр Петрович. Он вёл младшего за ухо. В другой руке Пётр Петрович держал молоток. Малыш всхлипывал.

— Вы меня простите ради бога, — говорил нам Пётр Петрович, кладя на стол молоток.

— Вот этот стул я сломал, — объявил малыш.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю... — сказал он задумчиво.

— Отойди отсюда, — сказал ему Пётр Петрович.

Он отошёл к столу. Взял молоток. И пошёл на кухню.

— Ангелины Петровны нет, — сказал Пётр Петрович, — поэтому такой беспорядок...

— Ничего, — сказал я.

— Ваш сын прочёл нам рассказ, — сказал Алька.

— Он был в пионерском лагере, — сказал Пётр Петрович. — Приехал оттуда с большими впечатлениями, всё время вспоминает лагерную жизнь и пишет рассказы на эту тему, я ему в этом не перечу, пусть занимается чем хочет. Он не читал вам рассказ про самолёты?..

— Про самолёты не читал, — сказал я.

Из кухни раздавался стук.

— Чёрт возьми! — сказал Пётр Петрович. Он быстро ушёл туда.

Только сейчас я заметил самого старшего. Он сидел за маленьким столиком. Я подошёл к нему.

Старший сын Петра Петровича рисовал какой-то странный предмет. Он даже не обернулся, только закрыл рукою лист.

— Не мешайте, пожалуйста, — сказал он.

Вошла Ангелина Петровна. Я сразу понял это. Мы с Алькой с ней поздоровались. Она поздоровалась с нами.

Появился Пётр Петрович. В руках он держал молоток.

— Вы не стесняйтесь, — сказал он нам, — вы, пожалуйста, не стесняйтесь.

Вот выпьем чайку, а потом я кое-что покажу вам, как истинным ценителям искусства. Садитесь за стол, не обращайте внимания на весь этот шум...

Пётр Петрович положил на стол молоток.

Я всё смотрел по сторонам. На стенах было много репродукций. Тут были люди в шлемах, и туманные пейзажи, и какие-то красавицы, и были кони, и

лодка, мчавшаяся по волнам с людьми. А под самым потолком висела незаконченная; наверное, та самая картина, о которой нам говорил Пётр Петрович.

Все сели за стол.

Только старший сын сидел за своим маленьким столиком. Он всё рисовал.

— Вот этот, — вдруг сказал Пётр Петрович, показывая на старшего сына, — учится в художественном училище. Рисует специально, умышленно какую-то безграмотную чепуху и уверяет, что это и есть самое прекрасное на свете искусство. Уверяет, что это какое-то движение вперёд, что-то неизмеримо космическое, что-то недостижимое, какой-то, в общем, модерн... я вам сейчас покажу!

Пётр Петрович встал, ушёл в другую комнату.

Младший сын Петра Петровича дёргал меня за штанину.

— Нигая, нигая, нигая... — повторял он.

— Что он говорит? — спросил я.

— Он пьёт чай, — сказала Ангелина Петровна, улыбаясь, — и рад сообщить всем, что чай совсем не горячий.

— Ялад, ялад, ялад, — сказал младший.

— Он сообщает всем, что он рад по этому поводу, — сообщила Ангелина Петровна.

— Ну, так вот, — сказал Пётр Петрович, неся в руках маленький холстик. Он поставил его на стул. — Вот до чего можно докатиться! Разумеется, его этому не учат.

— Что это такое? — спросил я.

— Это мой портрет! — сказал Пётр Петрович. — Творение рук вот этого молодого человека! — Пётр Петрович показал на старшего. — И он уверяет меня, что это я! Вот этот кубик и этот красный квадрат — это я! До чего можно дойти, до чего доработаться, что своего родного отца представлять в таком виде! А я ведь ему позировал. Сидел. Он ведь меня с натуры рисовал. «Не двигайся, — говорит, — папа, а то не получится!» Смотрел на меня, рисовал — и нарисовал вот этот кубик и квадрат! Ведь это полное пренебрежение к человеку, не говоря уже об отце! Он, выходит, на меня не смотрел, когда рисовал. Его голова была забита какими-то ничтожными мыслями — всех на свете удивить, показать всем и всякому, какой он оригинал!

Старший сын Петра Петровича всё так же не поворачивался. Он сидел всё так же спиной.

— Успокойся, пожалуйста, — сказала Ангелина Петровна.

Пётр Петрович махнул рукой.

— Атечик! Атечик! Атечик! — кричал младший сын Петра Петровича.

— Это он так отца зовёт, — сказала Ангелина Петровна.

Внимательно смотрел на молоток другой сын Петра Петровича.

Я смотрел на портрет. Я не мог понять, почему старший сын Петра Петровича так нарисовал своего отца. Я хотел, чтобы он повернулся, чтобы можно было посмотреть на него.

Он вдруг повернулся.

Он был похож на Петра Петровича. Как будто это Пётр Петрович совсем молодой. Только волосы у него были длиннющие. Он сказал:

— Вот это поколение поймёт меня! — Он показал на нас.

— Это бред! — сказал Пётр Петрович.

— Это гениально! — сказал сын Петра Петровича.

— Это глупость, — сказал Пётр Петрович. — С каким уважением малые голландцы оттачивали селёдочные головы, и с каким пренебрежением ты относишься к своему отцу...

— Это логически построенное композиционное решение, — сказал сын Петра Петровича. — Я должен иметь своё «я»!

— Кошмар! — сказал Пётр Петрович. Он схватился за голову. — Иметь, но не совать всем в нос!

— Бузылюки! — сказал младший сын Петра Петровича.

— А Пикассо? — спросил старший сын Петра Петровича.

— Аколоко! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Принеси ему из кухни молоко, — сказала Ангелина Петровна одному из сыновей.

— Вечный спор, — сказал Пётр Петрович. Он не хотел разговаривать.

— Кто такой Пикассо? — спросил я.

— Один художник, — сказал Алька. — Мне о нём рассказывал один художник.

— Но я могу экспериментировать? — спросил сын Петра Петровича.

— Можешь, — сказал Пётр Петрович. — Можешь. Только я тебе позировать не буду. И они тоже, — он показал на нас, — они тоже тебе позировать не будут.

— Не будем! — заорали мы с Алькой.

Старший сын Петра Петровича зло на нас посмотрел.

— Вы ещё запоёте! — сказал он.

— Ты сам запоёшь, — сказали мы. (Здорово смело мы ему сказали!)

Он показал нам кулак. Мы сделали вид, что не видим.

— Хочу мильдиди! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Это он купаться хочет, — сказала Ангелина Петровна.

— Ди-ко-ко! — сказал младший сын.

— Это слово мне незнакомо, — сказала Ангелина Петровна.

Пронеслись по комнате два других сына Петра Петровича.

Исчез со стола молоток.

Я смотрел на картину Петра Петровича, подвешенную к потолку. Она висела как-то боком, криво, и я, наклонив голову, рассматривал на ней людей, переплывающих реку, и танки.

— Пойдёмте-ка со мной, — сказал Пётр Петрович, вставая, — я хочу вам кое-что показать.

Мы прошли с ним в другую комнату.

Из кухни раздавался стук. Один из сыновей Петра Петровича продолжал вбивать куда-то гвозди...

Тася Лебедева

После того как Кафаров мне про Тасю Лебедеву сказал, я о ней думать стал. Да ещё Мария Николаевна про неё сказала: «Вы замечали, почему Лебедева сидит в классе во время перемен? Потому что она серьёзная девочка и беготня по коридорам ей претит».

Слово «претит» очень понравилось мне. «Тася», «претит», «торт», «петит» (что такое петит, я не знал) были самые прекрасные, волшебные слова. В том, что Тася самая необыкновенная, я уже не сомневался.

Я стал смотреть на неё. Смотреть всё время. Бесперерывно. Когда любят, решил я, наверное, всё время смотрят. На уроках я не мог на неё всё время смотреть: она сидела сзади меня, и я принёс в класс зеркальце и смотрел на неё в это зеркальце. Потом у меня это зеркальце отобрали.

Больше всего восхищало меня, конечно, то, что все выходят в коридор, всем это не претит, а она одна, можно сказать, во всём классе, а может быть, и во всей школе, которой п р е т и т.

— Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я перед сном. Мотив был из старинного романа. Я услышал его от мамы. — Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я на перемене.

— Чего ты бормочешь? — спросил Кафаров.

— Не твоё дело... — сказал я.

«Отстаньте от меня», — говорил я всем, хотя никто ко мне не приставал.

Любовь, думал я, это такое дело, что никто не должен к тебе приставать. Я решил ей подарить рисунок. Я подарю ей свой самый лучший рисунок, который висит у меня над кроватью. И пусть она повесит его над своей кроватью.

Была перемена.

В классе были я и Тася.

Она читала.

— Тася, — сказал я тихо.

Положил ей рисунок на парту. И вышел.

Всю перемену я думал о том, поняла ли она, что этот рисунок я ей дарю на всю жизнь, навеки. Лучше этого рисунка у меня никогда не было. Нужно было сказать ей об этом. А вдруг она не поняла, зачем я положил ей на парту рисунок? Подумает, я просто так — взял да и положил. Подумает, что этот рисунок мне совсем не нужен. Подумает, у меня таких рисунков, может быть, целая куча...

Звонок прозвенел. Вхожу в класс.

Рисунка на парте не было!

— Ей всё, всё, всё претит... — пел я по дороге домой.

Тася шла сзади.

Я замедлил шаг.

Когда Тася была почти рядом, я в каком-то непонятном восторге, сам не понимая, как это вышло, повернулся и... дал ей подножку.

Я просто хотел, чтобы она думала, что я всегда на неё внимание обращаю...

Чтобы она думала, что я её замечаю. Не знал я, что так всё получится!

Она поднялась и плачет.

— Дурак! — говорит. — Дурак!

Я стоял и моргал.

В это время Ыгышка подошёл. Если бы вы этого Ыгышку знали, вы бы никогда не захотели, чтобы он к вам подходил. Третий год в одном классе сидел. Потом его исключили. Здоровенный он был. Ещё бы! Так вот он подходит ко мне и говорит:

— Чего ты стоишь, дубина! Успокой невесту!

— Какая она мне, — говорю, — невеста? Ты думаешь, что говоришь? И какое ты имеешь право меня дубиной обзывать?

А он засмеялся вот так:

— Ы-гы-гы-ы-ы...

И говорит:

— Кавалер! Невеста плачет, а он рот разинул! Успокой невесту, кавалер!

И не уходит, главное. Стоит и смеётся.

— Кто тебе сказал, что я кавалер?

Так я расстроился! Вот пристал!

А он говорит:

— А кто же ты? Дубина?

Хотел я на него с кулаками броситься — до того он меня разозлил. А потом раздумал. Кулаки у него здоровенные. Если он своим кулаком меня стукнет, я просто не знаю, что мне делать тогда!

— Отстань, — говорю.

Он засмеялся и пошёл. Идёт и смеётся. И откуда он тут взялся!

А Тася вынимает из кармана мой рисунок. Даёт мне и уходит.

Я её догоняю.

Она повернулась и в другую сторону пошла.

А я за ней.

И всё ей объясняю, что это у меня нечаянно получилось.

Вдруг вижу — этот Ыгышка навстречу нам идёт.

Подходит он к нам и говорит:

— Спички есть?

Я зубы стиснул и смотрю на него. Неужели он не понимает, что у меня спичек быть не может. Нарочно ведь пристал!

Смотрю на него и не моргаю.

А он прищурился и говорит:

— Ишь ты, рожу надул! Нету спичек — скажи: нету. И не паясничай. Ыгы? — Это его любимое выражение. — А то и по шее получить недолго.

Повернулся и пошёл.

А Тася в другую сторону пошла.

А я со своим рисунком остался.

Потом как стал его рвать! На мелкие кусочки изорвал и вслед Тасе бросил.

Великие мастера

— Я вам сейчас покажу великих мастеров, — сказал Пётр Петрович.

Он взял с полки альбом.

— Попал я с фронта в Ленинград. Нева во льду. Метель метёт. Блокада. Иду я по Неве к Академии художеств. Захожу в вестибюль. Печурка. Сидят люди, греются. Худые, бледные лица. Сидят, греются и молчат. Я говорю: «Хочется мне повидать своего учителя Осьмеркина. Я у него до войны учился. Как бы мне повидать его?» Мне говорят: «Повидать его можно. Только он недавно в Эрмитаж ушёл». — «Бросьте, — говорю, — тут шутки шутить, какой тут может быть Эрмитаж! Кругом один голод и холод». Мне спокойно говорят: «Он очень любит великих мастеров смотреть. Вы его ещё догоните. Он медленно ходит». Догоняю его. Еле-еле с палочкой идёт он по широкой набережной. Снег вокруг метёт что есть силы. И шарф его, помню, по ветру трепещет... Вгляделся он в меня и говорит: «Петечка, ты? Очень рад, что я тебя встретил.

Мы сейчас с тобой великих мастеров пойдём смотреть...»

Пётр Петрович ходил из угла в угол.

Мы рассматривали альбом с великими мастерами.

Пётр Петрович говорил:

— Рембрандт! Запомните это имя! Эти руки старухи... целая жизнь человека в этих руках!.. такие руки мог написать только Рембрандт!.. Его автопортрет... Старик Рембрандт улыбается... прищурившись, смотрит на нас... Рембрандт стар. Но он помнит те времена: толпится знать Амстердама в его мастерской, гогочут и возмущаются: не нравится им, как Рембрандт их изобразил! «Посмотрите на свои свиные рожи, — говорит им Рембрандт, — и вы увидите, что я прав!» Рембрандт видел их такими, какие они на самом деле. Скандал! Тычут в картину палками... Он не стал свою картину исправлять, не стал... Вот почему старик Рембрандт улыбается. «Хе-хе! — говорит он. — Не удалось вам меня провести...»

...Делакруа! Чистый цвет! Романтика!.. «Охота на льва»! «Дерущиеся лошади»! «Марокканская фантазия»! — несутся всадники на фоне гор... лодка в бушующем море... У этого человека было солнце в голове и буря в сердце! Запомните это имя!

Рафаэль!.. Гениально!.. Линии поют... благородство, человечность, красота... Великие мастера! Великое искусство! Запомните их имена!.. Я понимаю, всё это слова... Тут просто словами не объяснишь... Кстати, сравните «Мадонну Сикстинскую» вот с этой, другого художника... и всё не то! Не то всё! Не то! В том-то всё и дело... Хотя и тут всё правильно... всё нарисовано... Такие сравнения полезны... они вносят ясность. Ведь всё относительно, а Рафаэль — вершина! К вершине нужно стремиться!

...Запомните это имя! Тинторетто! Удивительно! Потрясающе!.. Когда Суриков был в Венеции, он там увидел холсты Тинторетто. «Я слышу свист мантий!» — воскликнул Суриков. Высочайшее мастерство... Всё в холсте словно движется... Всё как будто просто... Кажется, вот возьмёшь кисть — и сам напишешь точно так же... до того всё кажется просто! Не видишь труда... не думаешь о том, как это трудно... Написано сердцем, вот в чём дело! И начинаешь верить, глядя на Тинторетто, что когда-нибудь сам возьмёшь и напишешь вот так, как захочешь... Гений не подавляет. Не бьёт по башке, как это думают некоторые... Он вливает в тебя бодрость духа... Это удивительно!

...Рублёв! Запомните это имя!!!

Пётр Петрович говорил откуда-то из угла комнаты. Будто он говорил сам себе. Некоторые слова он выкрикивал, а некоторые говорил тихо. Картины были замечательные, это верно. Но я не видел, чтобы пели линии. Не видел, чтобы в холсте у Тинторетто что-нибудь двигалось. Не мог я понять, почему

один Рембрандт мог написать такие руки! Алька тоже не видел этого. Хотя он повторял: «Да, да!» — словно он понимал всё. А между тем, думал я, наверное, всё это есть там, в этих картинах. И линии там, наверное, поют, и люди у Тинторетто движутся, и мантии свистят у Тинторетто... Всё это, наверное, есть там, раз Пётр Петрович видит это. А я не вижу...

— ...При жизни он не был известным... вот что любопытно... Очень любопытно... древнерусские даже фамилий своих не подписали на своих работах... Какое имеет значение в конце концов, кем эта работа сделана?.. Важно, что она сделана!..

.....

— ...Александр Иванов! Запомните это имя!..

.....

— Не этот кубик и квадрат!..

Пётр Петрович похлопал меня по плечу:

— Нужно соображать!

Он опять похлопал меня по плечу.

— Понятно? — спросил он.

— Понятно, — сказал я.

Я сказал это так тихо, что он, наверное, не слышал.

Когда мы с Алькой уходили, я вдруг вспомнил, что хотел спросить, что это за малые голландцы, которые оттачивали селёдочные головы...

Хотел спросить и не спросил.

Кобальт фиолетовый

Старший сын Петра Петровича стоял в коридоре. А я как раз вышел из класса.

Он позвал меня:

— Послушай, а ты не знаешь, где мой отец?

Я ему не хотел сначала отвечать, а потом говорю:

— Не знаю.

— В каком он классе сейчас, ты не знаешь?

— Не знаю, — говорю.

— Послушай, — говорит, — у тебя, кажется, целый склад рам. Это правда?

— А что?

— Значит, правда, — говорит. — Давай меняться. На масляные краски. Я тебе красок дам. А ты мне раму. Очень мне, до зарезу, вот так, рама нужна. Нужно мне портрет отца в раму вставить. В раме он совсем по-другому смотреться будет. Рама — это всё равно что платье для человека... Да ну, ты всё равно ничего не понимаешь, чего с тобой разговаривать...

Я хотел уйти, а он меня остановил.

— Да ладно, — говорит, — подожди ты. Будешь меняться или нет?

Напишешь масляную картину. Что, плохо, что ли? Очень даже хорошо. Я, понимаешь, хочу у отца деньги попросить. Для этого, собственно говоря, я и пришёл сюда. Раму, понимаешь, нужно мне купить. Да он может не дать мне денег. Да, может, у него и нету. Ты не знаешь, где мой отец? Насчёт красок я здорово задумался. Настоящая масляная картина... Великие мастера...

— А сколько ты мне красок дашь? — спрашиваю.

— Пойдём, — говорит, — посмотрим твои рамы.

— У меня, — говорю, — урок должен быть.

— Да плюнь ты, — говорит, — на урок, раз такое дело.

— Я так не могу, как же я так могу...

— Чего-нибудь скажешь: зуб, скажешь, болел или там печёнка, селезёнка, подумаешь!

— Как же так, я так не могу...

— Никудышный ты человек, — говорит. — Масляные краски. Большие такие тюбики. Разные цвета. Синие, оранжевые, зелёные...

— А кисточки у тебя есть? — говорю.

— Найдётся, — говорит. — Какая-нибудь облезлая кисточка найдётся.

Ему, видно, очень рама была нужна. Он меня всё-таки уговорил. Я ещё никогда в жизни с уроков не уходил. А тут взял и ушёл.

Мы с ним прямо к нам пошли.

Отца с матерью не было. Он по всей квартире ходил и орал:

— Шикарно живёшь, кочерыжка! Шикарно!

— Почему шикарно? — спросил я.

— Площадь, — орал он, — площадь! Шикарная площадь! И нет стариков!

Он стал рассматривать мои рамы.

Выбрал одну. Измерять стал. Подойдёт ли она к его портрету.

— Так тебе сколько красок? — спросил он.

— Все цвета, — сказал я.

Он присвистнул.

— Много, — сказал он.

— Мне нужны все, — сказал я. — Или мне ничего не нужно.

— И кобальт фиолетовый? — спросил он.

— И кобальт фиолетовый.

— Не могу, — сказал он. — Все краски, кроме кобальта фиолетового.

Если бы он не сказал мне про этот кобальт, я бы не стал его требовать. Я и не слышал даже, что такая краска на свете есть. Но раз ему так жалко этот

кобальт, значит, это самая красивая, самая замечательная краска...

Он вздохнул.

— Ну ладно, — сказал он. — Половину кобальта фиолетового.

Он опять вздохнул.

— И зачем тебе этот кобальт фиолетовый сдался, не пойму!

— А тебе он зачем сдался?

— Мне он вот так, понимаешь, по горло, нужен...

— И мне нужен, — сказал я.

— Ни черта он тебе не нужен, — сказал он.

Вот, думаю, хитрый человек! Ему, видите ли, нужен этот кобальт, а мне не нужен? Интересно, почему это он ему так понадобился? Неужели без такой краски обойтись нельзя? Наверное, нельзя, раз он так за эту краску цепляется.

— Вполне ты мог бы обойтись без этого кобальта фиолетового, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Не мог бы.

Он всё рассматривал раму.

— Нету ли у тебя какой-нибудь маленькой палитры? — спросил я. — Может быть, у тебя есть какая-нибудь маленькая палитра?

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Где же мне взять палитру?

— Фанерку. Возьми фанерку. И всё.

— А чем я буду краски разводить?

— Какое мне дело, чем ты будешь краски разводить?

— Как же мне их разводить?

— Керосином, — сказал он. — Из керосинки.

— И всё? — спросил я.

— И всё.

— А кисти?

— Что кисти?

— Где мне взять кисти?

— Какое мне дело? Какое мне до этого дело! — заорал он.

— Но где же мне взять их?

Он почему-то стал говорить мне на ухо:

— Клок волос. Своих собственных. Подравнять. Подстричь. Перевязать.

Ниточкой. На палочку. И всё! Понял? Секрет. Ясно? Что я буду иметь за это изобретение?

— Выходит, я тогда сколько угодно кистей могу сделать?

— Сколько угодно, — сказал он. — Собственный завод.

— И это всё?

- Всё.
- А холст?
- Что холст?
- Где мне взять холст?

Он захихикал:

- Какое мне дело! Боже мой, какое мне дело!
- Но где же мне взять его? — Я на него просто умоляюще посмотрел. Не знал я, где эти холсты берут. Он-то знал ведь. Он мог ведь сказать.
- Картонку, — сказал он. — Возьми картонку. Помажь её клеем. Столярным. И всё.

Мы взяли раму и пошли к ним. Я подождал внизу, а он мне вынес краски. Может, там были не все цвета, но кобальт фиолетовый там был. Это я сразу проверил. Я отвинтил крышечку тюбика и выдавил этого кобальта себе на палец. Вот это краска! Сиреневая-сиреневая! Жуть какая красивая. Теперь-то я понимаю, почему он мне эту краску давать не хотел.

Сон

Таинственно освещённый Рембрандт вышел из коричневого тумана. Перо на шляпе светилось в тени.

Я сел на кровати и спросил:

- Скажите, пожалуйста, вы рисовали на асфальте?

Улыбнулся Рафаэль в пространстве...

Рембрандт улыбнулся Рафаэлю...

Вихрем на коне пронёсся Эжен Делакруа...

Что-то зазвенело и затрещало. Из-за этого звона и треска никто не услышал меня. Старший сын Петра Петровича шёл напролом через что-то твёрдое, которое гнулось и трещало. И это твёрдое было пространство. В одной руке старший сын Петра Петровича держал кубик, а в другой — красный квадрат. Он старался протиснуть квадрат в какое-то отверстие в пространстве...

Я спросил в третий раз то же самое.

Старший сын Петра Петровича втискивал свой квадрат, и треск стоял ужасный.

И опять меня не было слышно.

Издали донёсся голос Петра Петровича:

- Запомните их имена!..

Засвистел ветер со страшной силой. Улетел старший сын Петра Петровича куда-то вдаль. В вихре кружились квадрат и кубик.

— Подписывать фамилии вовсе не обязательно! — сказал громкий голос Рублёва.

Рембрандт проткнул квадрат шпагой.

Тинторетто, закутанный в плащ, сел на кубик.

— Мильдиди! — смеялся младший сын Петра Петровича. Он смеялся тоненько, как колокольчик.

Проплыл в воздухе молоток.

— Я должен иметь своё «я»! — орал откуда-то сверху старший сын Петра Петровича.

— Скажите, кто из вас рисовал на асфальте? — спросил я.

И опять меня не было слышно. Старший сын Петра Петровича так орал про то, что он должен иметь своё «я», только его было слышно.

Ворвался яркий свет. Как будто мама утром отдернула штору.

Все стали уходить. Рафаэль — обнявшись с Рембрантом. Делакруа — обнявшись с Тинторетто...

Откуда-то сверху грохнулся на квадрат старший сын Петра Петровича.

Квадрат развалился вдребезги.

Смеялся младший сын Петра Петровича, как колокольчик.

Больше не было треска. Была только тишина. Только звенел колокольчик.

Всё тише и тише...

«Летучий голландец»

Когда я стригся в парикмахерской, меня спросили:

— Это ты в том окне живёшь?

Я удивился и сказал:

— Я.

— Что ты там всё время крутишься и руками машешь?

— А разве видно? — спросил я.

— Ещё бы!

— Я картину пишу, — сказал я. — Два дня я пишу картину. Но у меня пока не очень получается.

Я здорово, наверное, вертелся вокруг своей картонки. Махал кистью так, что вся стена стала в брызгах. Тряпкой крутил, как пропеллером. Разбежался и — бац! бац! — на холст краску! Прямо с разбегу мазки клал. Должна же быть у меня буря в сердце, как у того Делакруа! Он тоже, наверное, не стоял как дохлый возле своей картины. Он, наверное, так же, как и я, на месте не мог устоять.

— Как юла, — сказал парикмахер, — крутишься ты как юла.

— Сейчас кручусь? — спросил я.

— Да нет. В окне крутишься. Целый день крутишься. Чего это, думаю, там

крутится? Что бы, думаю, это могло быть?..

— Картину пишу, — сказал я.

— Теперь-то я понял.

— «Летучего голландца», — сказал я.

— Ну-ну.

— Трудная работа.

— Ну-ну.

Он стриг меня и улыбался. Может быть, он не верил, что я картину пишу.

— Ну, всё, — сказал он. — Иди. Пиши свою картину.

Тут я его спросил:

— Волосы вам нужны?

— Какие волосы? — удивился он.

— Мои, — говорю.

— Ничего не понимаю, — говорит.

— Вот эти, мои собственные, с моей головы... — И на пол пальцем показываю.

Он пожал плечами:

— Совершенно не нужно. Бери сколько твоей душе угодно, любые волосы с любой головы.

Я помчался домой. Это меня мама от картины оторвала. «Иди, — говорит, — стригись». Как будто я в другой раз подстричься не мог.

Когда творческого работника от работы отвлекают — это самое страшное дело. Нам Пётр Петрович рассказывал, как одного ужасно талантливого художника от работы отвлекали. Друзья его всё время отвлекали от работы, и всё! И он с ними отвлекался. Так потом он погиб. То есть сам он не погиб. Талант его погиб. Погубили друзья человека. Они его, представьте, водкой всё время угощали. Вот ведь какие друзья были, а? Не дай бог мне таких друзей иметь в своей жизни...

...Море синее и зелёное. Никогда я не думал, что столько красок пойдёт на это море. А посреди — корабль кобальтом фиолетовым. Весь кобальт фиолетовый посадил я в этот корабль! Это «Летучий голландец». Кто это мне рассказывал про «Летучего голландца»? Страшное там дело было... Куда-то исчезла команда. Один корабль остался. Вздуты его паруса на ветру.

Кренятся мачты то вправо, то влево. Скрипят удивлённые снасти. Болтаются верёвочные лестницы. Мчится по волнам «Летучий голландец»...

Я глянул в окно. Парикмахер смотрел на меня. Он сидел на скамеечке возле парикмахерской и смотрел вверх. Я помахал ему. А он мне. К нему подошёл мальчишка. И он с ним ушёл в парикмахерскую.

Никак у меня волны не получались — вот что плохо. Я слышал, что, когда не

получается, всю краску соскоблить нужно. Снять краску ножом. Я так третий раз уже сделал. Всю краску снимал. И снова начинал. И тут я увидел, что красок-то у меня больше нет. Кончились у меня все краски.

В это время отец подошёл. Он всё время ко мне подходил.

— Я думаю, — сказал он, — у художника должен быть какой-то метод...

— Какой метод? — спросил я.

— В любом деле, — сказал он, — должен быть метод.

— Мне нужны краски, — сказал я. — Мне ещё нужны краски. Не купишь ли ты мне ещё красок?

— А ты их намажешь на эту картонку, — сказал он, — снимешь ножом и выкинешь?

— Так все делают, — сказал я. — Все художники так делают! Если у них не получается, они эту краску снимают...

— У них-то есть метод! Не может быть, чтобы у них этого метода не было...

— Но где же мне взять его?

— Раз у тебя нет метода...

— Если бы у меня были краски, — сказал я, — я бы непременно написал это море... и «Летучего голландца»... у меня бы это всё отлично получилось...

— У тебя нет метода, — сказал отец, — ничего бы у тебя не получилось.

Я глянул в окно. Этот парикмахер стриг того мальчишку. Не пойду я больше стричься в эту парикмахерскую. Пойду где-нибудь в другом месте подстригусь. Спросит он у меня про мою картину, что я ему отвечу?

А утром придёт ко мне Алька. Он сразу утром примчится. Он непременно примчится.

Он пишет автопортрет. Сидит сейчас перед зеркалом и пишет себя масляными красками. Он, наверное, думает, что он Рембрандт! Он, наверное, так же, как Рембрандт, улыбается в это зеркало. И тень у него, наверное, такая же на лице. И беретку, наверное, на голову надел, как у Рембрандта...

Олив Нивс

Отец ходил с этим письмом по всем соседям.

— Кто может читать по-английски? — говорил он. — Кто может перевести? Как жаль, что я не умею читать по-английски.

— А что такое? — спрашивали соседи. — Что случилось?

— Моему сыну письмо из Англии! Как вы на это смотрите? Ему прислали письмо из Англии! Лично ему! Что вы на это скажете?

Соседи ничего не могли сказать. Они удивлялись.

Я получил письмо из Лондона. Я ходил за отцом и никак не мог понять, с какой это стати присылают мне письма из Лондона.

Тётя Регина привела какого-то старичка.

— Вы читаете по-английски? — спрашивал его отец. — Вы хорошо читаете по-английски?

— Да, я читаю по-английски, — сказал он, надев очки.

— А вы можете перевести? — спросил отец.

— Да, — сказал он, — я могу перевести, как это ни странно.

— В этом нет ничего странного, — сказал мой отец.

Все пошли в нашу квартиру.

Старичок взял письмо и стал читать. Он немного прочёл по-английски, а потом по-русски сказал:

— Значит, тут... вот... ага... так... ясно...

— Ничего не ясно! — сказал мой отец. Ему не терпелось скорее узнать, что там пишут мне из Лондона.

— Сейчас, — сказал старичок. — Ага...

— Ну, так что же там такое, в конце концов! — закричал мой отец. — О чём это там? Что там написано?

— Дай ему прочесть, — сказала моя мама.

Старичок снял очки, посмотрел на моего отца и сказал:

— Совершенно верно. Дайте мне прочесть. — И снова надел очки.

— Да читайте вы... — сказал отец.

Старичок читал про себя. Потом он кончил читать и сказал:

— Это письмо пишет девушка... то есть девочка... она гёрл, то есть девочка, живёт, как я понимаю, в Лондоне. И, само собой разумеется, пишет вашему сыну письмо...

— Английская девушка? Моему сыну? Этого не может быть! — сказал отец. На отца моего закричали, и он замолчал.

— Она пишет, что видела... одну минуточку... ага!.. Видела на вернисаже... ну да... на выставке, вероятно... совершенно правильно, на выставке какую-то картину... вероятно, вашего сына... Вот именно... Картину вашего сына!..

Я чуть с ума не сошёл, когда это услышал. Это, наверное, не мне было написано, что ли? Откуда там могла быть моя картина? Ерунда какая-то...

— Ну так вот, я читаю дальше... Она... тут ясно сказано... восхищена этой замечательной картиной. И так как она сама рисует... и ещё у неё есть два кролика... Билл-чёрный и Чарли-белый... Эти кролики...

— Какие кролики? — сказал мой отец. — Чушь какая-то...

— Вот именно, кролики, — сказал старичок.

— Читайте, читайте! — закричали все.

— ...она восхищена нашими мужчинами... да, да... вот именно, которые сдерживали несметные орды... полчища, вернее... рвавшие на нашу землю...

— Это толково, — сказал отец, — очень толково! — Он посмотрел на мать.

— ...и ещё она очень хотела бы... да... хотела бы увидеть русскую зиму... и русский снег... и... вот именно... автора этой замечательной картины...

— Увидеть снег, — сказал мой отец, — в Баку? Это невозможно!

На отца опять закричали.

— ...она хорошо учится... в колледже... шлёт привет всем мальчикам и девочкам... Англия... Советский Союз... короче говоря, должны жить в мире... её зовут Олив Нивс...

— Олив Нивс! — сказала мама. — Это очень красиво!

— Олив Нивс! — сказал мой отец. — Звучит!

— Олив Нивс! — сказал старичок. — Вот именно.

Потом все ушли очень удивлённые и смотрели на меня, и старичок снял очки, посмотрел на меня и сказал:

— Олив Нивс, милый мой, Олив Нивс!

Я, конечно, не понял, что он хотел мне этим сказать. Я вообще ничего не понял. Я опять стал здорово моргать. Так я, наверное, ещё никогда не моргал, как в этот раз.

Когда все ушли, отец сказал мне:

— Подойди-ка сюда. И не ври. Будь честным человеком. Речь идёт о капиталистической стране. Не увиливай. Выкладывай-ка всё начистоту. Что это значит?

— Ничего не значит, — сказал я. — Откуда я знаю, что это значит?

— Не увиливай, — сказал он. — Выкладывай-ка всё начистоту.

— Чего выкладывать? — сказал я.

— Значит, не хочешь выкладывать? — сказал он.

— Оставь его в покое, — сказала мама. — Это его дело. Его разговоры с этой девушкой. Вечно ты в чужие разговоры влезает!

— Девушкой! — закричал отец. — Какой девушкой? Английской?

— Не всё ли равно? — сказала мама.

— У меня никогда не было никаких знакомых английских девушек, — сказал отец.

— Очень напрасно, — сказала мама.

— Ах вот как! — сказал отец. Он размахивал этим письмом. —

Капиталистических девушек у меня не было, это верно! И никаких писем из разных там Америк, Англий, Бразилий я не получал!

— Помолчи ты, — сказала мама.

— Ну хорошо, — сказал отец, — хорошо...

— Вот и хорошо! — сказала мама.

Я потихоньку выскочил во двор.

Я сел на ступеньку и так сидел долго. На другой день утром мне принесли письмо из «Пионерской правды»:

Дорогой друг! Сообщаем тебе, что твою акварель «Танки врываются в родной город», присланную на конкурс, мы отослали в Англию на выставку, посвящённую англо-советской дружбе. Желаем тебе творческих успехов!

Второй «летучий голландец»

В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень-то хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся. И я его на днище натянул.

Отец, после этого английского письма, мне краски купил. Целую коробку масляных красок.

— Хотя у тебя и нет метода, — сказал он, — но будем надеяться, что он появится...

— Писать картины лучше на площадке, — сказала мама.

Я вынес табурет на площадку.

Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой — кисти из собственных волос, я прошёлся по нашей площадке.

— Витя, ты что, художник? — удивился дядя Садых.

— Не мешайте, — сказал я, — это дело серьёзное...

— На нашей площадке самые серьёзные люди живут, — сказал дядя Садых.

— Я и Витя — самые серьёзные...

Все расступились. Я подошёл к холсту.

Я начал писать второго «Летучего голландца».

Уж на этот раз я напишу этого «Летучего голландца»!

Соседи говорили:

— Зачем краски-то столько накладываешь?

— Сколько стоит одна такая краска?

— Такую картину на базаре не продашь...

— Не толкайте его, не толкайте!..

— Отойдите от него, отойдите!..

— Не мешайте ему, не мешайте!

— Красиво-то, красиво получается!

— Где красиво получается?

— Кораблик получается!

- Где кораблик получается?
- Глядите! Глядите!
- Не брызгай на меня! (Это я им уже мешать стал!)
- Не махай так своей тряпкой!
- Отойдите, — сказал я, — я должен издали посмотреть.

Я отошёл от картины.

И так и эдак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону.

Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку.

Соседи молчали.

Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку.

— А кто его знает, может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь, скажут, в этом доме, жил знаменитый художник Витя Стариков...

- Как же, прибьют, ждите...
- Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют, — сказал дядя Садых.
- Художник — это интересно...
- У меня был брат-художник, потом он утонул...
- Художники — они здорово зарабатывают...
- У меня был дядя-художник, он себе мотоцикл купил...
- Смотри какой художник...
- Вот только краски пахнут...

...У меня, по-моему, неплохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только, не было кобальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кобальт фиолетовый... И соседи меня хвалили.

Я понёс табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину.

— Взгляни на себя в зеркало, — сказала мама.

Я взглянул на себя.

Лицо моё было красным, синим и фиолетовым...

Выстрел

Подходит ко мне на улице Ыгышка и говорит:

— Послушай, хочешь я тебе уши отверну?

Ни с того ни с сего вдруг подходит. Такие вещи мне говорит. Зло меня взяло ужасное.

- За что? — говорю.
- Ыгы! — говорит.
- Чего? — говорю.
- Художник! — говорит. — Тоже мне, художник!

— Тебе чего? — говорю.

— Отверну, — говорит, — уши, и всё. Ыгы.

Ну чего ему сказать? Совершенно не знаю, чего ему сказать. Смотрю на него и ничего не говорю.

— Свои рисуночки даришь? — говорит. — Ыгы?

— Какие рисуночки?

— Сам знаешь! — говорит.

— Не дарил, — говорю я, — никому никаких рисуночков.

— Ыгы, — говорит, — понятно. А Лебедевой тоже не дарил?

— Отстань, — говорю.

— Ыгы, — говорит, — как раз!

Я хотел уйти, а он мне дорогу загораживает.

— Клянись, — говорит, — что больше рисуночков своих дарить не будешь.

— Захочу — буду, а захочу — не буду. Какое твоё дело? — говорю.

— Ыгы, — говорит. — Здесь не ходи. И там не ходи. Нигде здесь не ходи. А то... Ыгы. Ясно? Не встречайся мне. Ясно? Ыгы.

— Ясно, — говорю.

Что я ещё сказать могу? Ходить, конечно, я здесь всё равно буду. Где же ещё ходить? Негде мне в другом месте ходить. Что же мне, школу из-за него бросать, что ли? Дороги-то ведь другой нету. Глупости он, конечно, говорит. А неприятно. Очень всё-таки неприятно, когда вот такой здоровенный тип на дороге встречается. И завтра встретит. Неприятности у меня, неприятности. Я шёл и думал про эти неприятности. Да только чего тут придумашь? Не буду же я маме жаловаться. Или там папе. Никому не буду жаловаться. Не люблю я эту манеру — жаловаться.

Так я ничего и не придумал. Иду опять в школу этой же дорогой. Идти мне, конечно, неприятно. Выскочит сейчас этот тип здоровенный. С этим своим «ыгы». Очень всё это нехорошо получается. Другие люди как-то живут ничего себе. Никто им на дороге не встречается. Ходят они себе спокойно. И ни о чём таком не думают...

В это время мне кто-то гайку в спину кинул. Здоровенную такую гайку. Так по спине трахнули, что я чуть не сел. Хотел я сначала бежать, а потом думаю: «Если я так каждый день бегать буду, ничего хорошего не будет. Такую гайку мне совершенно спокойно можно вдогонку кинуть. Тут беги не беги — всё равно».

В это время этот Ыгы выходит.

— Ыгы, — говорит, — как дела?

А его дружок в это время мне под ноги лёг. Быстро так. Этот тип меня в спину толкнул. Я — сразу в пыль.

Стоят они и смеются.

— Не ходи ты здесь, — говорят. — Милостью тебя просим. Нельзя здесь тебе ходить. Не разрешается. Пропуска у тебя нету? Нету. А ты без пропуска ходишь. Ты что, шпион, что ли, без пропуска ходишь?

Разную такую они мне глупость стали говорить. И хохочут оба.

Я поднялся — и трах портфелем по башке этому Ыгышке! Он даже не ожидал. Дружок его почему-то сразу убежал. А он меня за руку схватил. «Ну, — думаю, — сейчас он мне даст как следует».

В это время учителя проходили. И он меня отпустил. Я сейчас же, конечно, бегом.

После уроков смотрю во двор. Так и есть — ждёт. А с ним двое. Меня дожидаются. Прогуливаются по двору. Руки в карманах. И на наше окно поглядывают.

Я к ним, конечно, не вышел. Не такой я дурак, чтоб к ним выйти. Я вылез через окно. Пошёл в другой класс. Совсем с другой стороны вылез. Гляжу во двор: ходят они, руки в карманах.

Я вдруг сразу решил, что мне с ним делать.

Замечательный пробочный пистолет лежал у меня дома. Лежал у меня этот пистолет в ящике. Вместе с поломанными, старыми игрушками. Раньше я из него с утра до вечера стрелял. А потом надоел он мне. Из такого пистолета ничего не вылетает. Эта пробка тут же падает после выстрела. Но гремит он здорово. И огонь из дула вылетает, и дым.

Теперь-то я спал спокойно.

А утром положил я этот заряженный пробкой пистолет в карман.

Не успел я на улицу выйти, как он у меня в кармане выстрелил. Дым из кармана всю повалил. Какая-то старушка рядом шла, так она чуть не упала со страха.

Пришлось мне домой идти. Новой пробкой заряжать свой пробочный пистолет.

И вот я иду по той же улице. Где мне ходить не положено. Иду без всякого пропуска. Держу одну руку в кармане. И лежит у меня там заряженный пробочный пистолет. И никто не знает, что у меня в кармане. И они тоже не знают. Вон стоят трое. Ждут. Улыбаются. Они о том думают, как будут мне сейчас разные обидные вещи говорить. Про разные там дурацкие пропуска. Про то, что мне здесь ходить не разрешается. Они, наверное, думают, как опять толкнут меня. И я в пыль полечу. А они будут смеяться. Не знают они, дураки, что лежит у меня в кармане!

Я подходил к ним, а они закрыли дорогу. И руки тоже в карманах держат; можно подумать, что у них там тоже пробочные пистолеты. Я подошёл к ним,

остановился, пальцем их поманил и говорю:

— Идите, идите сюда...

Они удивились, друг на друга посмотрели и медленно пошли на меня. А я медленно иду назад, а руку держу в кармане. «Только бы, — думаю, — пистолет у меня в кармане не выстрелил, как в тот раз».

Я решил их куда-нибудь в парадное завести и там в них выстрелить. Почему-то мне показалось, что нужно обязательно куда-то завести. Очень уж я был уверен в своём пистолете.

— Идите, — говорю, — идите, не стесняйтесь...

Этот Ыгы говорит:

— Да что с ним разговаривать, ребята, чего он голову морочит...

— Идите, идите сюда, — говорю я, — идите...

«Если, — думаю, — они на меня бросятся, я в них сейчас же выстрелю.

Вытащу пистолет и прямо в них выстрелю». Очень я был в своём пистолете уверен.

Нет, они почему-то на меня не бросились. Или они что-то недоброе почувствовали, или ещё что, только они вдруг остановились.

Ыгы говорит:

— Ты что, очумел, что ли?

— Молчи, болван, — говорю.

Он прямо опешил.

— Вот это да! — говорит.

— Ыгышка, — говорю, — чёртовая! Кочерыжка! Балаболка! Ыгышка!

Он прямо весь побледнел. Оттолкнул этих своих приятелей и говорит:

— Я с ним сейчас сам разделаюсь. Я ему сейчас его дурацкие уши оторву!

А я говорю:

— Ишь ты какой, Ыгышка! Иди-ка сюда!

«Если, — думаю, — он на меня сейчас полезет, я в него сейчас же выстрелю.

А так всё-таки лучше его куда-нибудь в парадное затащить».

И я приближаюсь задом к парадному. А он идёт за мной. И лицо у него какое-то странное. Он сам как будто не может понять, в чём дело. Что-то он всё-таки почувствовал. Потому что не очень спешил. Но в парадное он всё-таки зашёл. А дружки его на улице остались.

Я задом поднимался по лестнице, а он за мной поднимался.

— Иди, иди, — говорил я, — иди...

Я всё поднимался, а тут я вперёд шагнул. Навстречу ему шагнул на одну ступеньку. И пистолет свой я вытащил осторожно, чтоб он раньше времени не выстрелил. Он, по-моему, даже не заметил, когда я его вытаскивал. Он всё на меня смотрел. И рот свой кривил. Пугал он меня своим кривым ртом, что

ли?

Тут я в него и выстрелил.

Ну и грохнул же мой пистолет! Как пушка.

Он так закричал, как будто решил, что он убитый. Лицо у него в этот момент — не объяснишь! Глаза были раскрытые, как будто сейчас выскочат. Я не очень-то на него смотрел в этот момент. Я только о том думал, чтобы мой пистолет выстрелил. Но всё-таки я заметил, какое у него было испуганное лицо.

Потом он повернулся. И выбежал.

Я вышел за ним.

Он бежал что есть духу по улице, а за ним бежали его дружки. Эта улица была длинная. И вверх. Так они мчались по ней как сумасшедшие. Как будто я вслед им ещё стрелять собираюсь. Я им вслед смотрел до тех пор, пока они за углом не скрылись. Они, наверное, и там ещё бежали, честное слово!

Из парадного вышел дядька. Он был в пижаме.

— Что-нибудь произошло? — спросил он.

— Ничего не произошло, — сказал я.

— А почему пахнет? — спросил он.

— Где пахнет? — спросил я.

— Серой пахнет, — сказал он, — и выстрел был. Я слышал.

— Где был выстрел? — спросил я.

— А ты не слышал? — спросил он.

— Я ничего не слышал, — сказал я.

— Странно, — сказал он, — очень странно...

И он ушёл обратно в своё парадное

Палитры на стенах

— Пройдитесь после уроков по всему городу, — говорил Пётр Петрович, — и сотрите эти палитры!

Это мы с Алькой ходили по городу и мелом рисовали на стенах палитры. А внутри палитры писали:

Витя!

Алик!

Рублёв!

Иванов!

Тинторетто!

Делакруа!

Рафаэль!

Рембрандт!

Мы, конечно, знали, что писать на стенах не очень хорошо. Мы всё это знали. Но как-то не думали.

— Если каждый будет, — говорил Пётр Петрович, — писать на стенах свои имена... Я понимаю ваше желание увековечить себя, так сказать, закрепить свои имена... Несколько преждевременно... не совсем, я бы сказал, благородные порывы... Мне завуч говорит: «Это не ваши там стены разрисовали?» Я говорю: «Нет, это не наши». Я думаю, мы с вами сами в этом разберёмся. Сотрите, пожалуйста, эти палитры... — Потом он сказал всему классу: — Кругом столько этих палитр... Не так-то легко от них избавиться... Может, ты, Кафаров, сможешь?

Кафаров молчал. Видно было, что он совсем не хочет помогать.

Встала самая маленькая в нашем классе Кира Велимбахова и тоненьким голосом говорит:

— Я помогу.

— Не надо нам помогать, — говорю.

— Тогда сделаем так, — сказал Пётр Петрович. — Каждый, идя в школу или из школы, наверняка встретится хотя бы с одной палитрой. Я вас прошу: сотрите её. Вот и всё. Я и сам так сделаю, когда буду проходить мимо.

— На нашем парадном нарисована такая палитра, — сказала Тася Лебедева.

— Вот, вот, — сказал Пётр Петрович, — ты её и сотри!

— Очень надо! — Тася Лебедева посмотрела на нас. — Они будут рисовать, а я буду стирать?

— Они поняли свою ошибку, — сказал Пётр Петрович, — они всё поняли.

— Пусть сами стирают, — сказал Кафаров.

— Какие вы, ребята! — сказал Пётр Петрович. — Почему я могу стирать, а вы не можете?

— На нашем парадном две палитры нарисовано было, — сказал Костя Шило, — а после их дворник стёр.

— Создают дворникам работу! — сказал Пётр Петрович.

— Пусть староста сотрёт эти палитры, — сказал кто-то.

— Вот ещё, — сказал староста.

— На нашем доме нет никакой палитры, — сказал Киршбаум.

— Ну ладно, — сказал Пётр Петрович. — Хватит. Этот разговор у нас затягивается. Он приобретает нелепый оттенок. Кстати, — он обратился ко мне, — сколько приблизительно этих палитр вы нарисовали?

— Штук сто, — сказал я.

— Может, двести, — сказал Алька.

— Безобразия, — сказал Пётр Петрович. — Форменное безобразия! Вы что

же, выходит, не один день их рисовали?

— Не один, — сказал я.

— Каждый день, — сказал Алька.

— И давно вы начали эту кампанию?

— Не помню, — сказал я.

— Не помним, — сказал Алька.

— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Пётр Петрович. — От вас я такого не ожидал...

— Мы сотрём, — сказал я.

— И я так думаю, — сказал Пётр Петрович.

О палитрах больше не говорили.

— Великие мастера любили монументальное искусство! — говорил Пётр Петрович. — Они любили размах. Размахнуться, как говорится... Росписи Рафаэля, Тьеполо, Рублёва, Микеланджело, Тинторетто... Это громадные произведения... запомните их имена!.. Микеланджело! Запомните это имя! У него была кривая шея. Он всю жизнь расписывал потолки и стены, не говоря уже о скульптурах. Попробуйте задрать вот так голову... вот таким образом... и держать её в таком положении. А он именно держал её в таком положении!.. А лежать на спине часами? Лежать на лесах и смотреть в потолок? Это не шутки, я вам скажу! Запомните это имя!..

После уроков мы пошли стирать свои палитры.

Не так-то легко было стереть их. Не стирались они, вот в чём дело. И тряпку мы взяли из класса. И тёрли вовсю. Не стираются! Две палитры мы стёрли. Кое-как стёрли. Два часа тёрли. Во двор бегали. Тряпки мочили. Рисовать-то их гораздо легче было.

— Да ну их! — говорит Алька.

— Неудобно, — говорю.

— И зачем мы их только рисовали! — говорит Алька.

Какой-то старик остановился, стоит и смотрит, как мы их стираем.

Смотрел, смотрел, потом спрашивает:

— И сколько вам за это платят?

Мы ему ничего не отвечаем и продолжаем стирать.

Он говорит:

— Не хотите ли вы сказать, что вы это делаете бесплатно?

— Мы ничего не хотим сказать, — говорит Алька. — Понятно?

Старик говорит:

— Понятно, но не совсем. — Надел очки и опять стал смотреть. Вздыхнул и говорит: — Кажется, я вас с кем-то спутал. — Покачал головой и ушёл.

Он ушёл, какая-то собака стала на нас бросаться. Бросается и бросается, как

будто мы её трогаем.

Когда мы эти палитры рисовали, ничего такого с нами не приключалось.

Один раз только Альке по шее дали. И всё. За то, что на стенах мажем.

Кое-как хозяин этой собаки её увёл.

Он её увёл, дети стали собираться. Собираются и собираются. «Почему?

Отчего? Зачем?» — и разные другие вопросы задают. Здорово они нам на нервы действовали.

Алька им кричит:

— Что здесь, цирк, что ли?

Они назад.

Только мы стирать собираемся — они опять вперёд.

— А что, — говорят, — нельзя, что ли?

Алька говорит им:

— Вы что, в школу ещё не ходите?

— Не ходим, — говорят.

— Ходили бы в школу, — говорит, — не околачивались бы тут.

— Это верно, — говорят, — не околачивались бы.

И не уходят.

В это время мне мысль в голову пришла.

— Хотите стирать? — спрашиваю.

Они как заорут все вместе:

— Хотим!

Оторвал я им половину тряпки.

— Вот вам тряпка, — говорю, — стирайте. Задание вам такое даётся.

— Спасибо! — кричат.

Они этого как будто и ждали. Алик мне говорит:

— Давай им свои тряпки отдадим. Пусть они всё стирают. Пусть они ходят и стирают.

Отдали мы им наши тряпки.

Они так были рады, как будто мы им игрушки дали.

— Как увидите, — говорит Алька, — вот такую палитру, стирайте её немедленно!

— Сотрём! — заорали малыши.

— И другим скажите, пусть тоже стирают.

— Скажем! — заорали малыши.

— Ура! — крикнул Алька.

— Ура! — заорали малыши.

И мы с Алькой отправились по домам.

Штаны

Мать постирала мои штаны, повесила сушиться над газом, они свалились в огонь и сгорели. Хорошо, что не было пожара! Но я остался без штанов...

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна.

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она...

Я стоял в трусах, прислонившись к шкафу, вертел перед носом цепочкой от стальных часов и орал на весь дом это стихотворение.

Мне представились поезда, которые мчатся на север. Паровозы гудят. В одном поезде еду я. Настроение у меня очень радостное. Еду я в первом вагоне и на повороте вижу весь поезд, как он изогнулся дугой. Там, вдали, Алька, Кафаров, Тася... И даже Ыгышка... Они машут мне... А я мчусь на север. Где льды и снег. И напишу картину с северным сиянием...

И снится ей всё, что в пустыне далёкой —

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утёсе горючем

Прекрасная пальма растёт...

...И всё северное ушло куда-то в сторону, поезда помчались в обратном направлении — я еду в обратную сторону. Поезд блестит на солнце, как будто серебряный, и солнечные зайчики прыгают по траве и по виноградникам... И Тася, и Алька, и Кафаров встречают меня, и даже Ыгышка встречает меня со своими друзьями...

Когда стихотворение кончалось, я начинал сначала.

Очень нравилось мне это стихотворение!

Мать пошла покупать мне штаны. А я остался. Я не мог даже с ней пойти, чтобы эти штаны примерить. Не могу же я с ней идти в трусах по всему городу. У меня были ещё штаны. Мать перерыла весь дом, но штаны как будто в воду канули. Как будто они испарились. Были почти новые парусиновые штаны, куда они задевались? Это просто чудо какое-то: куда могли деться мои штаны?

И снится ей всё, что в пустыне далёкой...

...Идут верблюды, и звенят колокольчики, подвешенные им на шею... А пески, наверное, как волны... Громадные такие волны... Ветер дует, и песок стелется по этим волнам...

Какой раз я уже читаю это стихотворение!

Цепочка наматывается на палец и разматывается...

Звенят колокольчики, гудят паровозы, мчатся поезда...

Очень нравится мне это стихотворение!

И вдруг я вспомнил, что из парусиновых штанов мама сшила мне курточку, которая на мне...

Окно

Никогда ещё я не видел такого красивого света в окне. И никогда я не видел такого красивого абажура. Абажур был сиреневый. А лампочка там, наверное, была красноватая. Никогда я не видел такого красивого цвета — это уж точно!

Мы с Кафаровым раза два прошли мимо этого окна. Мы вовсю задирали головы, но так и не увидели там Таси Лебедевой.

Свет из окна освещал деревья. Небо было черно. И дул ветер.

— Может быть, она не там живёт? — спросил я.

— Я-то знаю! — сказал Кафаров.

Почему-то мне стало обидно, что я этого не знаю, а он знает.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Пойдём-ка на ту сторону, — сказал он.

Мы пошли на ту сторону.

Стоя на той стороне, мы вовсю глазели в окно.

— Сейчас она появится, — говорил Кафаров.

— А может, не появится? — говорил я.

— Не может быть, — говорил Кафаров.

— Откуда ты знаешь? — говорил я.

Потом мы сели.

— Мы ведь её сегодня в классе видели... — сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

— И завтра увидим, — сказал я.

— Ну и что?

Он даже меня слушать не хотел.

— Гляди-ка! Гляди! — крикнул он.

Там в окне что-то мелькнуло.

— Ты уверен, что это она? — спросил я.

— Конечно!

— А вдруг это её отец?

— Да ну тебя! — сказал он. — Что же, у него в волосах банты, что ли?

— Никаких бантов я не видел, — сказал я.

— А я видел, — сказал он.

— Не было бантов. По-моему, там усы были.

— Это были банты, — сказал он. — Два банта.

— Хорошо, — сказал я. — Были банты.

На окно вышла кошка. Она смотрела на нас. Как будто она специально для этого вышла, чтобы на нас посмотреть. С соседнего балкона на кошку стала лаять собака. Кошка не обращала никакого внимания на собаку. Она, наверное, понимала, что собака не могла её достать.

— Всё-таки мы её видели, — сказал он.

— Это мы отца её видели, — сказал я. — Гляди-ка! Гляди! — крикнул я.

Кто-то рукой задел абажур, и он стал слегка качаться. По занавеске заходили тени. Словно вся комната ожила. Вся комната закачалась...

— Не видел? — спросил я.

— А ты видел? — спросил Кафаров.

— Не то видел, не то не видел, — сказал я.

— По-моему, я видел, — сказал Кафаров.

— Тень? — спросил я.

— Тень, — сказал Кафаров.

— На занавеске?

— На занавеске.

— А может, это не она?

— Я видел банты, — сказал он.

— Не было там никаких бантов.

Сейчас-то я видел ясно. Ему просто мерещились эти банты!

— Два банта, — сказал Кафаров, — два больших банта...

— Может, это бабушка или мать, — сказал я.

— Сам ты бабушка, — сказал он.

Он был уверен, что это была она. Он в этом был совершенно уверен.

И тут мы её увидели.

Она быстро прошла мимо нас. Перешла на ту сторону. Махнула кошке рукой.

И вошла в своё парадное. Два громадных банта качались на её голове...

Записка

Младший сын Петра Петровича укусил собаку. Он пошёл с мамой в магазин.

Мама подошла к прилавку. А его отпустила. А около двери сидела собака.

Она ждала хозяина. Младший сын Петра Петровича подошёл к собаке и укусил её. Собака страшно завизжала, а малыш испугался и заплакал.

Ангелина Петровна закричала: «Уберите собаку! Она укусила моего сына!» В это время какой-то дядька говорит: «Ничего подобного! Собака не трогала вашего сына. Она спокойно сидела. Она никого не трогала. Я видел! Ваш сын подошёл и укусил её!» Все стали говорить, что не может быть, чтобы такой

маленький ребёнок укусил такую большую собаку. А тот дядька говорит: «Вы мне не верите? Ах, значит, вы мне не верите? Смотрите, как он это сделал! Он подошёл к собаке, я же видел, граждане! Он подошёл к ней вот так...» И дядька хотел показать, как младший сын Петра Петровича подошёл к собаке. В это время испуганная собака подумала, что с ней хотят что-то сделать, и она, не долго думая, укусила этого дядьку за нос. Дядька страшно заорал, а хозяин собаки говорит: «Зачем вы лезли к собаке? Скажите! Зачем вы к ней лезли? Она вас трогала? Не трогала! Тогда зачем вы к ней лезли?..» Всё это Пётр Петрович нам рассказывал, и мы смеялись. Пётр Петрович всегда очень смешно рассказывал...

— Если мы возьмём икс, — говорит Мария Николаевна, — если мы возьмём икс!..

Я смотрю на доску. Совсем не вовремя мне эта история вспомнилась...

В это время рядом со мной записка упала.

Когда Мария Николаевна отвернулась, я прочёл:

Ты не думай, что я на тебя обижаюсь. Я на тебя совсем не обижаюсь. Я завтра с отцом и матерью уезжаю. И буду учиться в другой школе. Совсем в другом городе. А на тебя я никогда не обижалась. Если бы моего отца в другой город не переводили, я никогда бы, ни за что не уехала...

ТАСЯ

— ...две тысячи четыреста пятьдесят на тысяча четыреста сорок восемь...

Я ничего не слышу.

— ...Получается три тысячи восемьсот девяносто восемь... делённое...

получается... прибавляя... итак... отнимаем...

Я ничего не слышу.

Смотрит на меня Кафаров. Звенит звонок.

Я подхожу к Тасе.

— Уезжаешь? — спрашиваю я тихо.

— Уезжаю, — говорит она.

— Насовсем?

— Насовсем. — И улыбается. Как будто это хорошо, что она насовсем уезжает!

— Ну... уезжай... — говорю.

Совсем ведь другое сказать хотел.

Она постояла, посмотрела на меня, а потом повернулась и пошла быстро. Я вслед ей крикнул:

— Это хорошо, что ты на меня не обижаешься!!!

Но она уже, наверное, меня не слышала.

Я хотел побежать за ней.

А потом не побежал.

Не может быть

Пётр Петрович развернул свой завтрак и стал есть яблоко. Кусок хлеба с маслом он положил на подоконник.

Я стоял за стеклянной дверью и тоже ел яблоко. Большой кусок хлеба с маслом я положил на подоконник.

Пётр Петрович поднял кверху яблоко и показал на бутерброд. Он как бы говорил: «Какое совпадение!»

Мы улыбались друг другу, и я вспоминал. Во втором классе я сочинил стихотворение. Я никак не мог решить, хорошее это стихотворение или нет. И стоит ли его читать? А вдруг это ужасное стихотворение? Вдруг там чего-нибудь есть такое ужасное, что я не вижу? Но в то же время, если я его не прочту никому, я так и не буду знать, что это за стихотворение. А может быть, это замечательное стихотворение? Что тогда? Краснея и волнуясь, я сказал Петру Петровичу: «Я написал стихотворение!» В классе были мы двое. Я специально выбрал этот момент, чтобы никого больше не было. «Это похвально, — сказал он, — прочти!» Я вышел на середину класса. Зачем-то влез на парту. Мне казалось, что стихотворение нужно читать непременно откуда-нибудь с высоты. «Не надо на парту, — сказал Пётр Петрович, — слезь, это вовсе не обязательно». Я растерянно слез. «Читай на полу, — сказал он, — это лучше». Я стал читать:

Шёл по улице портной.

Шёл спокойно, шёл домой,

В это время увидал:

Люди лезут на скандал...

Он вдруг перебил меня. «Куда, куда лезут?» — спросил он. «На скандал», — сказал я тихо. «Зачем?» — Он всю смеялся. «Лезут — и всё...» — сказал я. Я не мог понять, почему ему так смешно. Он вдруг прекращал смеяться, спрашивал: «Люди лезут на скандал?» — и опять начинал смеяться. У него даже слёзы на глазах появились.

«Ну, брат, насмешил», — сказал он. Я обиженно молчал. Наконец он спросил: «Сам, значит, написал?» — «Сам», — сказал я. «Сразу видно», — сказал он. «Что, плохо, что ли?» — «Нет, почему же, — сказал он, — смешно... давай дальше».

Дальше читать я не стал. Не хотелось мне почему-то дальше читать это стихотворение.

Мне вспомнился этот случай, и мне показалось, что он тоже вспомнил сейчас этот случай и поэтому улыбается. Сейчас-то я вижу, что это плохое стихотворение. Сейчас-то я сам вижу...

Я взял свой завтрак с подоконника и быстро ушёл. А Пётр Петрович остался. Он помахал мне рукой, когда я уходил.

Два урока прошли очень быстро. Я и сам не знаю, отчего это так бывает: одни уроки быстро проходят, а некоторые тянутся.

Я поднимался по лестнице. Шёл в класс на последний урок.

Сзади меня говорили:

— Такие неожиданные вещи случаются не часто...

— Нет, это ужасно... это такая неожиданность...

— Ведь только что...

— В том-то и дело...

— Прямо... знаете... просто... как вам сказать...

— Нет, вы знаете, в это поверить трудно...

— И я, представьте себе, то же самое...

— Вы слышали, говорят, он пришёл домой...

— Что вы говорите! Я этого не знал...

— Очень, очень неприятно...

— Изумительной души ведь человек...

— В том-то и дело... я и говорю...

Я сначала не очень-то слушал, что они говорят. А потом стал прислушиваться.

По коридору неестественно быстро прошёл завуч Пал Палыч.

Пробежали по коридору несколько человек в одну сторону.

Я вошёл в класс.

Кира Велимбахова стояла на стуле и тоненьким голосом повторяла:

— Пётр Петрович умер... Пётр Петрович умер...

Тася Лебедева плакала очень громко.

В класс вошла Мария Николаевна и сказала:

— Тише, ребята, тише... это большое несчастье...

Она так же быстро вышла, как и вошла, и я подумал, что она могла этого не говорить. Совсем не обязательно было входить в класс и говорить, что это несчастье. Это и так ведь понятно...

Скрипнула резко дверь, и все повернулись. Это Тася Лебедева выбежала из класса.

Завуч Пал Палыч сказал в дверях:

— Занятия сегодня кончились...

Зачем-то зазвенел звонок не вовремя.

Все стали уходить.

«Этого не может быть, — думал я, — этого не может быть...»

Дома я сказал:

— Пётр Петрович умер...

— Этого не может быть! — сказала мама.

И отец сказал, что этого не может быть.

И отец и мать посмотрели в окно, как будто там, за окном, сейчас пройдёт траурная процессия...

Все траурные процессии проходят мимо нашего дома. Были похороны генерала и похороны композитора. Генерал был убит на войне. Его привезли на родину с войны. Убит он был где-то на западе. Генерала везла на лафете от пушки шестёрка лошадей. И было много всадников, много военных, много народу. Несметное количество венков несли за гробом композитора. Улицы колыхались, как море. На балконах, в окнах и на крышах были люди. Гремела музыка, и все шли медленно...

А за гробом Петра Петровича пойдут дети, наш класс и другие классы — вся школа.

Нет, я не пойду...

В день похорон я сбежал.

Я сел на электричку. Помчались за окном дома и виноградники. Я уезжал из города. Поезд мчал меня за город. Я вышел в тамбур. Сел на пол. Мысли прыгали в моей голове как сумасшедшие. Я не знал, куда еду, и просто сидел.

Вся школа сейчас, наверное, идёт мимо наших окон. Весь наш класс. Все идут хоронить Петра Петровича, а я здесь сижу в этом тамбуре... Я всё хотел встать, пересесть на встречный поезд. И поехать обратно. И всё не мог. На одной остановке долго ждали встречный поезд. Все вышли из вагона и ходили по перрону. Я встал и вышел на перрон.

Я видел, как мчался встречный поезд, я хотел перебежать через пути и сесть на него, поехать обратно.

Но я не сделал этого. Я всё стоял, а когда раздался свисток, я вскочил в свой вагон и поехал дальше.

Когда поезд вернулся в Баку, я не слез. Люди входили и выходили, а я сидел. Опять я поехал из города. Я сидел в углу и не смотрел в окно, хотя я всегда смотрю в окно. Я смотрел на людей, но они ведь не знали, зачем я здесь, они и внимания на меня не обращали...

На одной остановке я сошёл.

Я пошёл к скалам. Дул ветер, и море было зелёное. Ветер гнал песок, и море шумело.

Было пусто.

И всё казалось странным. Брезент с одного грибка сорвало ветром и понесло в море...

Солнце было сильное, и ветер был сильный.

И сильно били волны в скалы...

На обратном пути я выпрыгнул, не дожидаясь, когда поезд остановится, и вывихнул ногу.

Я еле до дому добрался. Нога у меня распухла ужасно.

В школу я не ходил несколько дней, всё лежал с вывихнутой ногой. Я считал себя трусом — иначе почему же я тогда не пошёл со всеми хоронить Петра Петровича?

Я просто трус, вот и всё!

Не мог я видеть мёртвого человека, который вчера был живой!..

Не бросайте якорей

Белеют паруса. Рябится море. Солнце жжёт. Качаются слегка деревья. Мы с Алькой сидим на барьере.

— «Не бро-сай-те я-ко-рей», — читаем мы. — «Ос-то-рож-но — кабель»...

— Разве кто-нибудь бросает сюда якоря? — говорит Алька.

— Написано, чтоб не бросали, — говорю я.

— Раз никто не бросает, так нечего и писать, — говорит Алька.

— Если б никто не бросал, наверно бы, не писали, — говорю я.

Мы молча смотрим на море.

— Когда я был ещё маленький, то думал, что якоря просто так бросают.

Думал, это старое заржавленное железо и его с корабля бросают. Чтобы эти якоря не валялись на кораблях. А потом я прочёл эту надпись, подумал, потому, наверное, эти якоря бросать не разрешают, что это металлолом. А после я узнал про якоря, и мне было смешно, что я так думал...

— Про якоря я раньше тоже не знал, — сказал Алька. — Раньше думал, что якорями рыбу ловят. Бросят в море якорь, а на него рыба цепляется.

Громадная такая рыба. И её вместе с якорем вытаскивают. Как на крючок... Это всё было детство... — вздохнул Алька.

— Самое настоящее детство, — сказал я.

— Помнишь про карусель? — сказал Алька. — Мы с тобой с утра в очередь становились, чтобы эту карусель крутить. Разгонишь её — и катайся.

Гармошка играет. С музыкой. И совершенно бесплатно.

— Много желающих было карусель крутить, — сказал я. — Один раз мы с тобой два часа крутились, а потом встали и упали. Лежим, и всё кажется нам, что мы крутимся. А потом встали и пошли.

— Эх, давно это было, — вздохнул Алька.

- В прошлом году, — вздохнул я.
- Даже не верится, — вздохнул Алька.
- Совершенно не верится, — вздохнул я.
- Другие времена, — сказал Алька.
- Совершенно другие, — сказал я.

Мы ещё раз вздохнули. Вдруг Алька спросил:

- Умрёшь за живопись?

Он всегда внезапно что-нибудь такое спрашивает.

- Умру! — сказал я. — За живопись я готов в любую минуту умереть, об этом и спрашивать нечего.

— И я умру, — сказал Алька. — Живопись — это такая вещь, за неё вполне стоит умереть. Помнишь, нам Пётр Петрович про Микеланджело рассказывал? Умрём за Микеланджело? — Он на меня так посмотрел, как будто я за Микеланджело отказываюсь умирать. Да я бы за него сто раз умер, даже не подумав.

Алька это сразу понял и говорит:

- Я так и знал, что ты за него умер бы.
- Конечно, умер бы, — говорю, — что за вопрос!

Мы с Алькой вздохнули, потом он сказал:

- Послушай, если мы умрём, как же мы тогда живописью будем заниматься?
- А зачем нам умирать, — говорю, — нам совсем не нужно умирать.
- В том-то и дело, что не нужно! — говорит Алька.
- Это ты, — говорю, — всё придумал — умирать. Зачем нужно за живопись умирать, не понимаю! Наоборот, нужно больше жить, чтобы больше картин написать.
- Правильно, — говорит Алька. — Абсолютно правильно!

Паруса сверкали в море. Как будто они плясали в воде. Ветер налетал на море, и море рябью несло в нашу сторону.

— А рамы ты выброси, — сказал Алька. — Раз мы будем делать монументальное искусство. Раз мы будем писать на стенах. Как Микеланджело. Размах! Во! — Он развёл руками. — Во! Вокруг небо! Плывут облака. И в облаках картина.

Он уже всю ора. Показывал на небо и махал руками.

- В каких облаках? — спросил я.
- В небесных! — орал он. — В небесных!

Если ему чего-нибудь в голову придёт, он думает, другие знают, что ему в голову пришло.

- Я уже поменял одну раму, — сказал я на всякий случай.

— Меняй! Меняй! — орал он. — Все меняй! Картины на домах! Идешь по улице и рассматриваешь картины! Здорово я придумал? Это я только сейчас придумал!.. — Он немного отдышался и говорит: — Вот кто я? Как ты думаешь, кто я?

Я на него удивлённо посмотрел, а он говорит:

— Я — новатор! Я это только сейчас понял.

— Это почему же, — спрашиваю, — ты новатор?

— А потому, — говорит, — что я, можно сказать, первый человек на земле, который подал идею расписать все стены домов...

Я не дал ему закончить и говорю:

— Ведь до тебя Микеланджело писал на стенах...

Он так засуетился, я думал, он сейчас свалится с барьера, и говорит:

— Микеланджело внутри дома писал на стенах, а я снаружи! Ты видел, чтобы Микеланджело снаружи писал?

Очень уж хотелось ему новатором быть!

Я не знал и не видел, писал ли Микеланджело снаружи домов свои картины, но всё равно я не верил, что Алька новатор.

Ужасно ему хотелось быть новатором, просто удивительно! Как будто без этого новаторства прожить нельзя. Живут же люди без этого. Никто им за это ничего не говорит. Пусть он не думает, что он скорее меня новатором будет.

Ерунду какую-то придумал, про эти стены... Хотя, может быть, он действительно чего-нибудь придумал? Может быть, только кажется, что в этом нет ничего такого, а на самом деле в этом много чего есть? Может, и вправду такого ещё никто не придумал — расписывать все дома? Неужели за всё время человечества никому в голову не пришла такая мысль?..

Опять я вспомнил Петра Петровича, и то, что я сбежал тогда, и то, что я трус...

И мне стало казаться, что такой человек, как я, никогда не станет новатором, никогда ничего большого не сделает, раз он сбежал... Конечно, Алька скорее станет новатором, и, может быть, он уже придумал то, что никто не мог придумать до него...

Паруса всё так же сверкали. Только их стало больше. И всё вокруг стало как будто ярче. Солнце висело над самой головой. И было жарче.

Я слез с барьера и говорю:

— Пойдём со мной к Петру Петровичу.

Он с барьера не слез, только повернулся ко мне и спрашивает:

— Куда?

Я ему спокойно говорю:

— К Петру Петровичу.

Он на меня раскрытыми глазами посмотрел и говорит:

- Как же мы к нему пойдём, если он умер?
- А мы не к нему пойдём, — говорю, — мы к его семье пойдём.
- К его семье? — говорит Алька.
- К его семье, — говорю.
- Зачем? — говорит Алька.
- Надо, — говорю.
- Сейчас? — говорит Алька.
- Сейчас, — говорю.

Это верно, очень уж я внезапно собрался идти к семье Петра Петровича. Но раз уж собрался, я непременно пойду. Кто меня плохо знает, тот может подумать, что я не пойду туда, куда я собрался. Алька-то знал меня. Он-то знал, что я туда непременно пойду, раз собрался. Приду я к семье Петра Петровича и скажу: «Здравствуйте! Извините меня, что я тогда не был». Нет, это не годится, это совсем не то... Я скажу: «Здравствуйте! Я очень жалею, что так всё вышло... так произошло... Я пришёл сказать, что я трус... Я испугался, простите меня за то, что я испугался... Я всегда любил Петра Петровича... может быть, больше всех других я любил Петра Петровича...»

Что-нибудь такое я скажу... что-нибудь скажу такое, как только откроют нам дверь...

— Ничего не понимаю, — говорит Алька. — Почему нам надо именно туда сейчас идти?..

— Надо идти, — говорю, — вот и всё.

А ещё я сказал ему, что он может не идти, если не хочет. Я и сам могу пойти, пусть он не идёт, если ему не надо.

Он руками развёл, и мы пошли.

Когда мы шли, нам Ыгышка встретился. Со своими друзьями. Он стоял на другой стороне улицы, возле кинотеатра. Он что-то говорил своим друзьям, а они его слушали наклонив головы. Можно было подумать, он им что-нибудь умное говорил. Разве мог он им что-нибудь умное говорить, кроме своего «ыгы». Я его много раз видел, как он билетами спекулировал. Поэтому они, наверное, и торчат здесь.

И тут он меня увидел. Он поднял голову и увидел меня на той стороне. Он уже ничего своим дружкам не говорил, а смотрел на меня. Мне показалось, что он сначала вздрогнул, а потом каким-то окаменелым стал. Его дружки повернули головы: они хотели узнать, что там Ыгышка увидел. И в этот момент они бросились врассыпную. Как по команде, все бросились в разные стороны. Одну тётку кто-то из них толкнул, и она упала. У неё была сумка, оттуда выпрыгнула кошка и помчалась вслед за этой компанией. Эта тётка сейчас же встала и побежала за своей кошкой. Милиционер стал свистеть в

свой свисток, и за этой кошкой, тёткой и всей компанией бросилось несколько прохожих. Они, наверное, думали, что это какие-нибудь воры или ещё что-нибудь такое, раз они бросились бежать и вдовавок милиционер им свистел вдогонку. Скорее всего, никто ничего не понял. Понять тут трудно было. Один я знал, в чём дело. Но не мог же я им объяснить!

Куда, интересно, несла тётка эту кошку? Может, она её топить несла? Тогда очень даже приятно, что кошка спаслась благодаря этому случаю.

— Чего-то украли, — сказал Алька.

— Наверное, кошку украли, — сказал я. Не хотелось мне ничего ему рассказывать. Во-первых, он не поверит. А во-вторых, не то у меня было настроение, чтобы чего-нибудь такое рассказывать.

— Неужели кошку украли? — сказал он.

— Ты же видел, — сказал я.

Он прошёл немного и говорит:

— Не может быть всё-таки, чтобы кошку украли. Такой скандал из-за кошки? Не может быть!

— Ты же видел, — сказал я.

— Неужели всё-таки кошку украли? — повторял он. Он был очень поражён тем, что украли кошку. На него это здорово подействовало.

Мы подходили к дому Петра Петровича, когда Алька сказал:

— Неужели всё-таки кошку украли?!

Он всё думал об этой кошке.

Я думал совсем о другом.

Я очень волновался, когда звонил.

Старший сын Петра Петровича открыл нам дверь. Он не очень-то удивился, когда нас увидел. Он пригласил нас войти, и мы вошли. Я решил ничего ему не говорить. Я решил всё ЭТО сказать Ангелине Петровне...

Посреди комнаты, прислонённый к столу, стоял холст. Наполовину краска была соскоблена. На полу валялись разноцветные, соскобленные ножом куски краски. С холста стекала вода.

Старший сын Петра Петровича размочил холст, чтобы легче было соскоблить краску. Когда холст размочишь с обратной стороны, краска легко слезает.

Опять чистый холст. Пиши себе на нём свою новую картину...

Не обращая на нас внимания, старший сын Петра Петровича соскабливал ножом краску. Звук ножа по холсту был глухой и тупой. Лицо у старшего сына Петра Петровича было сосредоточенное.

Я сразу увидел, что это был за холст.

Портрет отца — вот что скоблил он!

Мы растерянно смотрели.

Ведь это был тот самый портрет, который мы с Алькой должны были в будущем «понять и осмыслить»!

Старший сын Петра Петровича продолжал скоблить. Потом поднял голову и сказал:

— Мамы нету.

Мы всё стояли.

Тогда он сказал:

— Если ты хочешь, я могу тебе вернуть твою раму...

Я молчал.

Он всё скоблил.

Не глядя на нас, он сказал:

— Пусть это вас не смущает... Это логически осмысленный шаг художника... Подготовка холста к новой работе...

Мы с Алькой переглянулись. Ведь это был тот самый «шедевр»! То самое «логически построенное композиционное решение»...

Я сразу представил себе, что если бы он написал тогда НАСТОЯЩИЙ портрет отца, остался бы он у него на память...

Мы потоптались на месте. Потом попрощались. И вышли. Он всё продолжал скоблить, когда мы уходили. Мы сами открыли дверь.

...В скверике имени Двадцати шести бакинских комиссаров пронёсся мимо нас с мячом Кафаров. Он даже нас не заметил. Он мчался забить свой гол.

Лестница

Сколько раз я проходил мимо!

Дворец пионеров. Колонны. Скульптуры у входа. Мраморная лестница...

Там, на четвёртом этаже, в окнах видны мольберты. Громадная гипсовая голова смотрит на меня из окна...

Сколько раз я проходил мимо!

Сколько раз мне хотелось подняться! Один раз я уже вошёл в вестибюль. Стоял и смотрел на лестницу. Лестница блестела, а посередине лестницы был ковёр. Мне хотелось подняться. Туда. На четвёртый этаж. Где в окне видны мольберты. Где эта громадная гипсовая голова...

Я стоял раскрыв рот и смотрел на лестницу.

Я не решался подняться.

Ребята поднимались и спускались по этой лестнице. Они так просто ходили по ней! Смеялись и разговаривали. А некоторые бежали. А некоторые прыгали через две ступеньки...

Нет, я не мог подняться!

Я представил себе: я поднимаюсь... туда... на четвёртый этаж... где

мольберты... «Ах, это вы! — скажут мне. — Мы ждём вас! Это вы нарисовали Рембрандта на стене? Вы знаете, это замечательно! Мы будем счастливы, если вы... со своей стороны... сообразовываете... заниматься, так сказать, в нашей студии. Таких талантов нам как раз и не хватает». А я скажу:

«Пожалуйста, я могу заниматься, мне ничего не стоит... я для этого в общем-то и пришёл, собственно говоря... увидел в окне мольберты и зашёл; дай, думаю, посмотрю, что там делается...» А что, если мне скажут: «Ой, Господи! Вы видели, какой он нарисовал кошмарный рисунок? И он ещё пришёл сюда! Да он с ума сошёл! Уходите скорее и не мешайте нам работать». Тогда что я скажу? Вот в том-то и дело! Лучше туда не идти. Кто их знает?

Пётр Петрович говорил: «Ребята! Я скоро вести буду студию. Я вас возьму к себе». Но он умер. Конечно, он взял бы меня. Он меня ведь хвалил. Вы помните, как он сказал тогда про мою золотую руку? Он непременно бы взял меня. И Альку бы взял. Но он умер.

А если я сам пойду? Поднимусь на четвёртый этаж. Разве я плохого Рембрандта нарисовал? А «Летучий голландец»? Тогда почему мой рисунок в Англию послали?

И лестница мне не казалась такой уж особенной. Нужно было подняться по ней. Вот и всё...

А если мне только кажется, что у меня «Летучий голландец» получился? И кажется, будто Рембрандт получился? А в Англию, может быть, мой рисунок послали, потому что у них других рисунков не было? А Олив Нивс ведь девчонка... Что они понимают, девчонки!..

Уходит опять эта лестница.

Нет, я не был уверен. Я просто не был уверен. А все те, кто бежали по лестнице, и все, кто сидят сейчас в студии и рисуют, они все, наверное, уверены, раз сидят там сейчас и рисуют. А я иду мимо.

Вчера и сейчас, каждый день иду мимо.

Но в то же время разве стал бы я рисовать такого громадного Рембрандта во всю стену, до потолка, если я не уверен? Разве я покупал бы рамы? Зачем мне тогда рамы, если у меня никогда картин не будет? Нет, я был уверен. Я был во всём уверен...

Это всё приходило мне в голову. И уходило. Как эта самая лестница.

И вот я иду опять мимо.

А навстречу мне идёт Мария Николаевна.

— Здравствуйте, Мария Николаевна, — говорю я.

— Здравствуй, Витя, — говорит она. И останавливается.

— Вот это погода! — говорю.

— Отличная погода, — говорит Мария Николаевна.

— Совсем нету ветра, — говорю я.

— У моряков, кажется, говорится: штиль? — говорит она. — На море штиль, не так ли?

— А когда ветер — норд, — говорю я.

— Ах, этот норд, — говорит Мария Николаевна. — У меня в комнате два стекла выбил этот норд...

— И у нас стекло выбил, — говорю я, — одно стекло выбил...

— Как поживаешь, Витя? — говорит Мария Николаевна, как будто мы с ней сто лет не видались. — Рисуешь всё, рисуешь... Нет, у тебя, конечно, есть способности, а когда человек со способностями... ведь это счастье... творческое начало в человеке... искусство — большое дело...

Чего, думаю, она мне про эти способности говорит, я и сам знаю, что у меня есть способности. Вот сейчас мне про искусство говорит, а завтра мне двойку поставит.

А она говорит:

— Нужно непременно развивать свои способности. Способности нужно непременно развивать. Учиться нужно. А как же? Путь к мастерству долг... Я помню, один мой знакомый...

Вовсе мне не интересно про её знакомого слушать. Я и сам знаю, что способности развивать надо...

— Пойдём, Витя, со мной вот сюда, в этот дом, я тебя познакомлю... Он таких вот ребят учит... в студии... Может быть, и тебе полезно... Ты, кстати, не ходишь в студию?

Мы вошли в это парадное.

И стали подниматься по лестнице.

Ей трудно было подниматься. Она ведь старенькая. И мы поднимались медленно.

Уплывают корабли

Пляшут на сцене джигиты.

Летит оттуда к нам музыка.

Плывут по морю корабли и лодки.

Качаются на привязи швертботы.

Стоит над бухтой громадный памятник Кирову.

Мы с Алькой сидим на крыше. Отсюда нам виден город. Даже сцена летней филармонии. Даже остров Нарген вдали.

Небо тёмно-синее, и море тёмно-синее. В небе звёзды, а в море огни.

Алька завтра уезжает в Москву. И будет там жить с родителями. Поступит там

в художественное училище. И будет писать мне письма.

А я остаюсь. Буду здесь учиться. Поступлю здесь в художественное училище. И буду писать ему письма.

А встретимся мы в Ленинграде. В самой Академии художеств. Где учились знаменитые художники. Где учился наш Пётр Петрович... Мы встретимся с Алькой в этой академии, обнимемся, потом хлопнем друг друга по плечу и вместе спросим: «Как живёшь?» Потом мы рассмеёмся, оттого что вместе сказали «как живёшь», и спросим друг у друга: «Как дела?» А потом мы с Алькой пойдём осматривать Академию художеств... А потом станем знаменитыми художниками... Как великие мастера...

— Вот этот громадный дом, — говорит Алька, — мы с тобой когда-нибудь разрисуем... Мы с тобой весь город разрисуем...

— И другие города, — сказал я.

С моря раздавались гудки. Они были протяжные и длинные.

— И Тася уехала, — сказал я. И чего это я вдруг про Тасю вспомнил!

— Ну и влюблён же ты в Тасю! — сказал Алька.

— И Кафаров влюблён, — сказал я.

— И я тоже влюблён, — сказал Алька.

Я смотрел на него и не верил. Первый раз слышал я, что он в Тасю влюблён.

— Это правда, — говорит Алька. — Только я никому про это не говорил.

Только сейчас говорю. Всё равно. Раз теперь уезжаю.

— Врёшь ты всё, — сказал я.

— Что мне врать? Всё равно уезжаю...

Опять с моря гудки загудели. Сцена филармонии опустела. Концерт, значит, кончился. Сцена ещё светилась, как большой прожектор. Но джигитов уже на ней не было.

Потом сцена потухла. Мы молчали некоторое время. Гудки с моря всю гудели. Как будто много пароходов плыло куда-то...

